

Репетитор

Роман в девяти главах с прологом и эпилогом

Пролог

*Скажи ми, Господи, кончину мою
и число дней моих, кое есть? Да
разумею, чего лишаюся аз?*

Пс.38, ст.5

На самом деле жизнь не так уж и любит рисовать причудливые узоры. Мы часто самовольно приписываем ей эту любовь, горделиво основываясь на, в общем-то, невыдающихся фактах или пошловатых наблюдениях. Там юная дева, неосторожно рассыпав апельсины, сталкивается лбом непременно со своим суженым, возжелавшим помочь их собрать, – и набивает себе, разумеется, шишку; там телефон находчиво звонит как раз в тот момент, когда некий дошедший до точки страдалец уж выправляет петлю – и некто искренне доброжелательный сообщает, что именно сегодня... – и так далее. Но жизнь нечасто опускается до подобных плоскостей, захватанных нечистыми пальцами беззаботных беллетристов всех времен.

Господи, как у них все просто! Если попал ты в красивую беду, то каким бы сирым по жизни ни обрелся – непременно отыщешь в телефонной книжонке чудо-приятеля, готового предоставить тебе роту спецназа в критический момент, одолжить «джип»-внедорожник, в принципе не возражая против того, чтобы его взорвали враги, а уж за сутки организовать тебе дипломатический паспорт и подкинуть небольшой чемоданчик денег – вообще для него дело плевое. Когда-то, в тщеславных мечтах юности, я даже воображала себя успешной героиней подобного триллера... Что ж, можно подсчитать.

Денег у меня... Да, эти четыре десятки, словно в насмешку хрустящие новизной, плюс желтая мелочь копеек на восемьдесят. Два близких человека только что предали меня, не утрудившись даже постесняться самого факта предательства, мотивировав его просто и неопровержимо: жить хочется. С этим не поспоришь. Я не могу вернуться домой, не могу поехать на дачу к своей семье, не могу обратиться за помощью к любимому человеку. Потому что в любом из этих случаев я буду, скорей всего, немедленно убита, как и все, оказавшиеся в тот момент рядом.

Я не сумасшедшая и не истеричка – сейчас я еще могу утверждать это почти наверняка. И я твердо знаю, что вчера меня пытались убить три раза, с интервалом примерно в час, приходили с этими же намерениями сегодня – и я абсолютно не знаю, не могу даже предположить, кто этого хочет и зачем это кому-то нужно.

* * *

Я не люблю музыку. Не стыжусь говорить это окружающим, не боюсь их шокировать невежеством – прошли те времена. Я слишком хорошо успела доказать себе и всем прочим свою ценность, цельность самобытность и прочую неординарность – настолько, что нелюбовью к музыке имею полное право и пококетничать. Сегодня я об этом жалею: из открытого окна на втором этаже доносятся звуки столь серьезные, что явно тянут на симфонию – и как хотелось бы мне сейчас, впервые в жизни и, скорей всего, в ее конце, вдруг замереть, сливаясь душой с музыкой, раствориться в ней каждым атомом и, вынырнув обратно, найти если не ответ, то хоть успокоение, а нет – так по-хорошему взбудоражить душу... Но увы, я по-прежнему слышу лишь набор более или менее внятных звуков, способная лишь умом оценивать, как они, должно быть, велики, и не чувствую сердцем – почему... Почему меня убивают?! И убьют, наверное: в одиночку биться в

тумане с невидимым жестоким и зрячим врагом невысказано, но мне хотелось бы знать – за что? Кому помешала моя маленькая тихая жизнь? После минувших суток мне вдруг начало казаться, что это любопытство пересиливает инстинкт выживания! Неужели чрезмерно развитый интеллект может взять вверх над естественным законом...

* * *

В первый раз я испугаться не успела. Подверженная странному всеобщему поветрию хоть на три метра да сократить себе путь, выйдя с урока, я не пошла по опрятной асфальтовой дорожке, а тотчас свернула налево с целью трусцой проскочить до угла дома по узенькой бетонной тропинке прямо под окнами. Я не Сирано, поэтому неожиданный меткий кирпич себе на голову никогда в расчет не принимала. И сначала услышала ни на что не похожий треск или гром у себя под ногами, а потом уж догадалась, что большой темный предмет, только что мелькнувший перед глазами, и был той самой чугунной крышкой, слетевшей сверху и своей тяжестью, помноженной на ускорение, буквально вспоровшей бетон прямо у носов моих туфель. Поторопись я ровно на четверть шага – наверное, и не поняла бы, что случилось.

Человек, которого грабители как-то раз стукнули по голове ломиком, в подробностях рассказывал впоследствии о своих ощущениях в тот момент, вернее, об отсутствии таковых. Единственное воспоминание о миге, благодаря которому человеку всю жизнь предстоит проходить с титановой пластинкой, аккуратно залатавшей дыру в черепе – даже приятное: ему, кажется, привиделся прощальный салют. «Знаешь, Сима, я даже успел восхититься – сколько различных цветов, оказывается, существует в мире – а я и не знал!» – так описал свою кончину возвращенный. Так что умереть предстояло мне легко, а поскольку крышку, летевшую мне на голову, я не видела, и уворачиваться от нее не пришлось, то и тягостных воспоминаний не осталось. Я лишь подняла голову без всякой надежды определить, с какого балкона или подоконника сорвалось возможное орудие убийства, и, как положено, обозвала его предполагаемую небрежную хозяйку: «Дура ненормальная! Смотреть надо за тяжелыми предметами!» – должна же я была хоть последнее слово оставить за собой, раз меня чуть не пришибло...

Настроение было – хоть взлетай, по совокупности всех обстоятельств. Сегодня закончился мой последний перед летом урок с мальчиком Славиком, коего я уже два с половиной года репетирую для поступления в среднюю художественную школу; значит, на долгих три месяца – лучших, летних – я свободна от почти ежевечерних тасканий в эту новорусскую квартиру. Мне можно будет отдохнуть от постоянного раздражения, испытываемого от общения с этим симпатичным, ласковым, но дремуче бездарным ребенком-медвежонком. Не трясоти головой от навязчивого желания очень больно вывернуть его ни на что путное не годную правую лапу – не за то, что он плохо рисует и никогда не научится делать это хорошо, а за... Ах, да за многое! За то, что у него есть любящий папа, который никогда не умеет устоять перед сыновним умильным «хочу!» – и вполне может себе и ему это позволить – все позволить. А у моего сынишки, почти ровесника сему будущему «владельцу заводов, газет, пароходов», папы нет вовсе (в смысле – рядом), зато есть строгий дедушка, убежденный, что «мальчишек нечего баловать», а девчонок (то есть, меня) – и того пуще, а не то – «сядут на шею и ноги свесят», и усвоивший себе громогласно-командный тон с нами обоими. Говорят, этим именно тоном он свел в могилу мою мать тридцать лет назад – ее я помню только как нестерпимо яркий сгусток света и тепла над моей жизнью – может, это из-за того, что единственное слово, оставшееся мне от матери – «солнышко». Только она меня так называла – она и еще один человек. Как бы там ни было, а Славика мне предстояло не видеть три месяца, зато те благополучно минувшие, в течение которых мне его видеть – приходилось, в тот день были по обычаю щедро оплачены его отцом Алексеем Петровичем. Мать Славика, Марьяна, – взбалмошная, но, в общем, трогательная особа, не

дождавшись конца занятий, еще накануне укатила на дачу. Очень обидно было бы сделать те не сделанные мною четверть шага именно в день, когда в сумке у меня, в потайном кармашке на молнии, спрятались новенькие зеленые бумажки с портретами американских президентов. А еще в прошлый мой приход Марьяна подарила мне на прощанье свой лосиный плащ – просто так, в знак расположения. Нет, я лукавлю: эти люди ничего не делают просто так. Лосиный плащ – цена почти литра моей крови, пролитой за други своя еще под Восьмое марта. Плащ, собственно, новый – Марьяна прошла в нем пару раз и отчего-то забраковала. Обычно в таких случаях одежду, над которой я тайно пускаю слюни, она бросает на собачье место в качестве новой подстилки, а когда безобразный буль ее основательно пожует и потопчет, Марьяна прикажет домработнице недавнюю обнову выкинуть – и все дела. Но на этот раз одежда досталась мне – Марьяна не любит быть обязанной. Дважды обидно получить крышкой по башке, шагая в чудном, шелковисто и золотисто выделанной кожи лапсердаке – ведь после такого он не сгодится никому даже в морге! Наверное, ей пришлось в голову сделать мне именно этот подарок, когда она увидела мою новую стрижку «а ля воронье гнездо» на одно ухо. Я и минуты не собиралась стричься «под Марьяну», но мастерица в парикмахерской меня особенно и не спрашивала: карнала и карнала – я только с ужасом слушала щелканье ножниц возле ушей – и вот, пожалуйста.

«Ой, Сима, да мы ж как сестры с вами, правда-правда! Теперь, когда вы с этой прической, нас и матери родные в десяти метрах бы спутали! – этого не проверишь: матерей нет у нас обеих. – А вот прикиньте-ка этот плащик... Мне он как-то... Ой, как вам идет! Ну, надо же! Все! Себе берите! Ой, ну какие там благодарности – все равно бы Бульке бросила! А вам – ну просто как на вас шили!». Более гордый человек от подарка в таком «сопровождении» деликатно отказался бы – но глупо слишком уж гордиться, зная, что для того, чтобы купить такой плащ, мне нужно работать на нее же, Марьяну, примерно полгода, и при этом ни самой не есть, ни ребенка не кормить. Словом, сказала «спасибо», надела да и пошла – подумашь!

И потом, с последнего урока, шла и радовалась: я ведь не просто так шла, а к святому Франциску Ассизскому. Картина начата была уже давно, но работать ее приходилось урывками, отчаянно биясь в попытках добыть на себя и семью – репетиторством треклятым – за деньги – и дизайнерством, то есть вечным пере-переоформлением одной и той же ненормально огромной витрины – за помещение под мастерскую в полуподвале магазина...

Квартира, где я живу, для творчества категорически непригодна: в одной из двух комнат (в меньшей, о чем постоянно напоминает как о великой жертве) царит папа – отставной полковник, в другой – мой шестилетний сынок Васечка. Комната считается нашей общей – но попробуй, займись чем-нибудь серьезным в присутствии ребенка-дошколенка, кроме его воспитания – а вот этого я как раз делать и не умею. Мне остается лишь убиваться вечерами на кухне, выслушивая добрые пожелания пришедшего пообщаться на ночь отца, сдерживаясь, чтоб не запустить в него, по меньшей мере, стаканом, – а потом мышью проскользнуть в «свою» комнату и беззвучно улечься в углу за шкафом – и то Васька непременно успеет полупроснуться и заворочаться...

* * *

А вот второй раз – меня толкнули в спину. В ту минуту, когда я вместе с прочими многочисленными нетерпеливыми гражданами, повернув голову вправо, напряженно следила за интересным событием: торжественным явлением из тоннеля сияющего голубого поезда. И я забалансировала на краю платформы, в долю секунды непостижимым образом поняв, что погибну – вот сейчас, и смерть будет ужасной, как и вид трупа. Я даже сообразила, что хоронить меня придется в закрытом гробу, а еще – успела испытать материнское облегчение оттого, что за сына можно, вроде бы, и не беспокоиться: отцу хотя

и за шестьдесят, но он не-пьет-не-курит, несгибаем, как товарищ Сталин, – подымет; в детдом не сдаст – ответственный... Удивительно, сколько умных и полезных мыслей может, оказывается, вместиться в одну предсмертную секунду!

Потом была резкая, отрезвляющая боль в предплечье, за которое меня рванули вверх и в сторону, расплывчатое лицо спасителя с разинутым ртом, изрыгнувшим в меня поток слов, из коих повторим, в принципе, один невинный вопрос: «Пьяная, что ли, что под поезда кидаешься?!» – а остальные лишь оригинально, но абсолютно непечатно декорировали его...

«Два раза за вечер – это как-то многовато», – помню, решила я, на ватных ногах пробираясь зачем-то в середину вагона, куда механически зашла. Но я все еще закономерно списывала оба происшествия на страшенькие случайности – просто потому, что предположить что-либо другое было бы в высшей степени нелепо. Но вскоре после выхода из метро мне пришлось навсегда расстаться с приятной иллюзией.

Волевым усилием я заставила себя успокоиться, повторяя про себя любимую выручательную фразу: «Нечего жить в сослагательном наклонении». И правда, тренированная фантазия художника полдороги третировала меня кровавыми видениями моего собственного трупа – с вышибленными мозгами у стены дома и раскромсанного на части колесами голубого вагончика. Но то было бы, если бы... – а что толку теперь ужасаться задним числом, когда я цела, невредима и, видимо, надолго, по теории вероятности, гарантирована от подобных сюрпризов. Я насильственно, но вполне успешно переключила мозги на мысли о том, что приду сейчас в пустую квартиру. И пустой она будет долго, долго, все лето, пока дедушка с внуком изводят друг-друга на даче под Лугой – а дача настолько далеко от города, что для меня вполне простительно мчаться туда и старательно изображать тоску по любимой семье не чаще двух раз в месяц... И сегодня я еще успею доработать важный эскиз на залитой вечерним солнцем кухне – именно такое освещение, какое мне сегодня необходимо, чтоб набросать фигуру Франциска, влекомого на веревке через толпу... Вот тот страдальческий поворот головы – как увязать с ним пусть измученный, но смиренный взгляд? Кажется, взяв сейчас в руки кисть и палитру, я, наконец, увижу и сотворю ту до сих пор не поддающуюся гармонию... У кого-то из великих на полотне я видела нечто подобное, только там, кажется, был Иисус... Вот ведь память проклятая – кто же это так хорошо ухватил то, до чего мне все никак не дотянуться?!

Я и раньше слышала шаги сзади – ничего особенного: по этой аллейке, ведущей в наш тихий дворик, постоянно кто-то ходит. Но в какой-то момент меня, будто толчком извне, осенило: это неправильные какие-то шаги! Они идут не за мной, а параллельно! Не уверенно потрескивают гравием дорожки, а торопливо шуршат по траве, позади молодых, но густых уже лиственниц, заботливо высаженных когда-то в два ряда по краю аллейки. Кто-то преследует меня, желая остаться незамеченным!

Лишь сообразив это, я атавистически рванулась вбок и влево. Теперь точно могу сказать, какое именно шестое чувство вело меня в те секунды – а именно, воспоминание о детских играх в прятки в этих самых местах – среди гаражей, проходных дворишков, старых лип, мусорных баков и богатых кустов королевской сирени.

Слепая сила ужаса толкала меня вперед и вперед – через газон наискосок, в узкий проход между домами, напролом сквозь кустарник – к зияющему черному квадрату чужого подъезда. Едва ли в те секунды, успевшие, быть может, сложиться не более чем в минуту, я была способна ориентироваться на местности. Слыша за собой равномерный топот ног убийцы – а в один ослепительный миг истины я точно поняла, что это именно убийца и никто другой – я не смела даже обернуться на бегу, боясь, наверное, что увидев его приближение, окажусь парализованной страхом, – но безошибочный инстинкт родом из дремучего детства вел меня в то единственное место, где можно было надеяться на спасение.

Один подъезд был проходным, внутренняя дверь его открывалась в соседний двор – и имела секрет, владелицей которого долгие годы довелось быть только мне. Распахиваясь одной створкой внутрь подъезда, а другой – наружу, при раскрытых обеих, дверь давала полную иллюзию того, что одна ее половина на открывается вовсе, и в мертвом пространстве между хитрыми створками и стеной вполне мог укрыться человек. Сколько раз школьницей тряслась я от беззвучного хохота во время игры в прятки – именно в этом замкнутом пространстве, злорадно слушая обиженные крики «вóды» и уже разоблаченных других прятальщиков: «И куда только эта толстая Симка опять заныкалась!» – а «ныкалась» я всегда в одно и то же место, и ни разу никто меня не нашел. Важно было лишь заскочить в подъезд раньше преследователей – и мне всегда удавалось потом ускользнуть незамеченной и торжествуя хлопнуть ладонью по дереву, беспечно брошенному водящим: «Палочка за себя!».

В тот подъезд и мчал меня мой Ангел-Хранитель, и я даже мельком не позволила себе подумать, что может произойти, если с подъездом за последние двадцать пять лет произошли какие-нибудь необратимые перемены. Дверь давно могла быть сорвана с петель или попросту заколочена, подъезд могли оборудовать новомодным домофоном... Мои слабые ноги не вынесли бы лишних десять килограммов сала – и все тогда. Но я не сомневалась, что заповедное место выручит и в этот раз, не сомневалась настолько, что дано мне было по вере моей...

Автоматическим движением, словно лишь вчера проделав это последний раз, я рванула створку на себя, одновременно заученно бросая тело в создавшуюся полость, замерла, вжавшись спиной в знакомую стену – и в ту же секунду дверь с улицы распахнулась. Человек, видеть которого я не могла, ворвался в темное пространство подъезда, уверенно протопал его насквозь и исчез, проскочив так близко, что чуткий мой нос обдало вонью чужого гадкого тела – и шаги застучали по асфальту двора... Я знала, что теперь погоне нет другой дороги, кроме как напрямик через улицу в калитку бетонного забора, где метаться мужику в обе стороны еще минут десять, пока он не осознает напрасность своих трудов... Но обо всем этом я не думала – образы регистрировались на задворках сознания помимо воли; я же, лишь только топот затих, ящерицей скользнула в обратную сторону, на улицу, и бросилась наперерез как раз неторопливо катившей мимо маршрутке. Она благополучно подобрала меня, и только оказавшись внутри, я сообразила, что привычное ощущение «я живу» на сей раз продолжается совершенно случайно. Потом вспомнила, что после такого бега должно отчаянно колоть в бок – и тотчас закололо, словно подтверждая наличие тела...

Я не могла опомниться. Все произошедшее только что настолько не имело права происходить в моей жизни, что я еще глупо надеялась на чудовищную ошибку или, в крайнем случае, на последствия моей расшалившейся художественной фантазии.

«Спокойно, спокойно», – отчаянно принялась я уговаривать себя. – «Сейчас свернет за перекрестком – а там Риткин дом. Ритка умная, она подскажет, что думать... Вдвоем мы обязательно все раскусим... Разложим по полочкам... Только бы скорее к Ритке... Как хорошо иметь проверенного друга, Господи...».

- Так что, женщина, вошли, а платить будем или где? – ворвался в мой уже обособленный мир голос водителя из мира прежнего, который, оказывается, без меня еще не ухнул в тартарары, а продолжал благополучно существовать.

Волей-неволей вернувшись в него, я уныло отметила, что здесь меня уже редко называют «девушка».

Глава 1 Подруга

*Сердце мое смятается во мне, и
боязнь смерти нападе на мя.*

Только сегодня выяснилось, как, оказывается, сильно я завидовала. Я поняла это в тот момент, когда открыла дверь и увидела тебя – настоящую, и сразу же раскусила, что вот именно такая ты и есть на самом деле. Что двадцать пять лет я напрасно мучилась твоим неоспоримым превосходством. Знаешь, дорогая подружка, а ведь всем в моей жизни я обязана тебе. Выходит, неосмысленной целью моего существования всегда было – доказать, что я, по крайней мере, не хуже. Ну, зачем это надо было делать!

Никто не возьмется оспаривать, что, прежде всего, внешне я гораздо интереснее: Творец подарил тебе одно из тех заурядных лиц, на которые без особой нужды не взглядывают дважды – так оно тривиально и, по сути, могло бы принадлежать кому угодно. Ни одной запоминающейся черты, лишь общее ощущение сомнительной милovidности, что вовсе не достоинство на фоне современных поголовно ярко красивых женщин восточнославянской расы. Фигура – так себе, ты с годами даже располнеть не смогла гармонично, а местами обросла неприличными буграми сала. Цвет волос твоих с детства темно-пегий, и лень не позволяет тебе их регулярно красить, кроме того, еще ни одна стрижка тебе не шла. Вкус в одежде у тебя отсутствует полностью, хоть ты и отчаянно пытаешься косить «под богему», убеждая себя, что это и есть твой неповторимый стиль. Вдобавок, ты неуклюжа и вечно некрасиво спотыкаешься – и всегда была такой – короче говоря, нелепа во всем. Я – другое дело. Пусть адовых мук стоит мне моя и по сей день точеная фигура – но она есть не у тебя, а у меня! Да, зубы, конечно, ослепительны у нас обеих – но у тебя-то потому, что я – стоматолог! Ты ни копейки еще не заплатила за улыбку, пригодную для рекламы отбеливающей пасты, и это я и мои коллеги потрудились над каждым твоим родным и неродным зубом – хороша же ты была бы, если б не мы! Но почему это именно я все время чувствую, что обязана тебе?!

В школе я училась на голову выше: у обеих нас в аттестате по четыре четверки – только у меня-то остальные – вполне заслуженные пятерки, а у тебя – натянутые «тройбаны»! Я высидела свои отличные оценки, как заботливая Ряба – пушистых цыплят. Высидела – и горько позавидовала твоему непристойному для девочки из хорошей семьи аттестату – за то, что тебе действительно было наплевать на него, в чем ты и признавалась откровенно всем желающим это узнать. Тебя интересовала только чужая живопись и свое посредственное рисование – что ж, мне пришлось притвориться, что я пылаю равной страстью к посторонним гнилым пастям. Не могла же одна из «неразлучных» в чем-то большом, основном, (ученье, как и любая обязаловка таковым на считалось) отстать от другой.

Далеко не являясь красавицей, ты, тем не менее, всегда считала себя таковой и, что уж совсем удивительно, заставила всех окружающих в это поверить, а кто не согласился – тот был безжалостно из твоего окружения изъят. Не могу также сказать, что, заиклившись на искусстве, ты когда-либо делала это хорошо – и те знающие люди, что видели у меня твои картины, не будучи знакомы с тобой, убеждали меня, что живопись твоя лишь удовлетворительна, а графика чуть получше, но тоже несколько не выбивается из общего ряда... Но дивное дело! Стоило тем же людям час-другой пообщаться с тобой, как графика мгновенно превращалась в выдающуюся, а живопись – в значительную, и все это вполне искренне...

Да что я! У тебя и образования-то высшего нет, ты с горем пополам и двумя, кажется, академками, закончила всего-то среднее художественное училище – а мне, чтобы хоть как-то приблизиться к тебе по части профессионального успеха, потребовалось защитить кандидатскую диссертацию и написать целый раздел в новом вузовском учебнике! Какого рожна мне еще надо! Я работаю в фирме, экипированной по послезавтрашнему слову

медтехники – и заведу там отделением. Ты, даже неумолимо катясь к сорока, еще не озаботилась обрести твердую почву под ногами и, по-видимому, совершенно не собираешься этого делать, пребывая в уверенности, что в случае надобности всегда сумеешь постучаться в нужную дверь.

Кажется, уж хоть в любви-то я могла бы тебе не завидовать: замужем ты так и не побывала, вечно выкарабкиваясь из одной несчастной любви с тем, чтобы через квартал, объявив ее очередной досадной ошибкой, ухнуть в следующую, столь же обреченную. Дитячко ты все-таки прижила – около тридцати – от очередного навеки возлюбленного, но жизнь свою так и не устроила и, вероятно, не устроишь, в то время как я... Но я дрожу и трясусь, как Гобсек над сундуком, над своим хрупким неустойчивым счастьем, каждое утро просыпаясь с мыслью о том, что, возможно, наступающий день как раз все и развалит, – самый верный способ призвать грозную беду себе на голову... Ты же откровенно плюешь каждый раз, когда у тебя все снова и снова рушится – ну, поплачешь, разве, немножко – и в этом я тоже завидую тебе.

А сегодня поняла, что все эти годы прозавидовала напрасно. Сегодня я поняла, что ты просто сумела создать у всех иллюзию собственной неистребимости. Но, в роковом изнеможении прислонившись к косяку в моей прихожей, вдруг продемонстрировала свое подлинное лицо – незащищенное, искаженное первобытным страхом, – и я увидела жалкую, прибитую, впервые ничего не понимающую женщину в дорогом летнем пальто, но с трясущимся слабавольным подбородком.

- Меня хотят убить, Ритка... За мной следят... Я – чудом...вернулась... Три раза...Ох, Ритка, что мне делать, ужас-то како-ой! – ты закрыла лицо растопыренными пальцами, и сквозь них почти что струйками побежали черные слезы, стекая в рукава твоего все-таки шикарного пальто.

Я еще ничего не понимала, но вдруг вспомнила. Семь лет назад. Только не ты, а я стою точно так же у тебя в прихожей, сотрясаясь от рыданий и размазывая слезы и сопли по распухшему лицу. «Симка, он добьет меня! – с тою же безнадежной интонацией, что и ты сегодня, всхлипываю я. – Чуть насмерть не пришиб только что-о... Ох, Симка, что мне делать, помощи-и...».

Мой первый муж пил чудовищно – и думаю, это недостаточно сильный эпитет. Жаловаться было некому, потому что выходить за него отговаривали все знакомые – в одних и тех же выражениях. Теперь любой из них получил полное право позлорадствовать в мое несчастное лицо – мол, предупреждали же тебя добрые люди! Когда в отчаянье я прибежала жаловаться на благоверного в церковь – венчались ведь все-таки! – то неожиданно выяснилось, что я же во всем и виновата. Произошел у меня с батюшкой примечательный диалог:

- Так что ж ты за него шла, раз он такой пьяница?

- Да что вы, батюшка, он и капли в рот тогда не брал!

- Так выходит, это ты ему такую жизнь устроила, что несчастный с тобой спился?

Продолжать сей разговор смысла не имело: мужская солидарность, помноженная на право сильного, при любых условиях сделает женщину виноватой. Помощи ждать тоже было неоткуда: квартира принадлежала «любимому», вернуться я могла только в «двушку» к родителям, где в бывшей детской жила тогда старшая сестра с мужем и грудным ребенком – и поселиться на раскладушке в прихожей или потеснить нашего старого добермана на матрасике под кухонным столом. В те годы я еще работала в простой поликлинике, вымучивала по ночам диссертацию, замирая в тоске и ужасе каждый раз, когда на улице слышались нетвердые мужские шаги. Это вполне мог оказаться мой благоверный, которому я в те годы вполне искренне желала смерти, ничуть не терзаясь при этом совестью. Позволить себе снять квартиру и уйти я еще не могла, а муженек, вместо того, чтобы допиться как-нибудь «до кондратия» или окончательно напороться на нож во время очередной авантюры, все здоровел и зверел, словно наливаясь дьявольской силой после каждой бутылки. Но смерть неумолимо приближалась – как я обреченно

чувствовала, моя собственная. Не раз приходилось мне ночевать, запершись в ванной, когда удавалось увернуться от его загребущих и молотящих лапищ. Я забывалась на часок, свернувшись клубочком в самой ванне, набросав на дно полотенце и укрывшись махровой простыней. У других жен пьяницы как пьяницы: ну, налижется, домой приползет, поперек кровати рухнет – и ну храпеть до утра! Мой же урод (которого долго в мужья выбирала, еще и бесовестно отбив его у другой дуры, тоже маниакально стремившейся усадить себе не спину этого демона) не мог заснуть до тех пор, пока хмель в нем не перебродит. Ему нужно было выговорить, вернее, выорать, вытопать, выломать пьяную дурь – и разобраться, кто попадетя по дороге было совершенно недосуг. Первые годы еще случались горькие покаяния с похмелья, клятвы, в-ногах-валянья, но потом все это сменилось лютым утренним раздражением и мордобоем уже на трезвую голову...

Сочувствовала мне, пожалуй, только ты – во всяком случае, выслушивала – а при отсутствии реальной возможности помочь – какое участие может быть действенной? Я привыкла, что и здесь ты – это ты, как всегда на высоте человечности, до которой мне тянуться и тянуться. Потому именно к тебе прибежала я той страшной ноябрьской ночью, когда еле успела впрыгнуть босыми ногами в полусапожки и рвануть с вешалки пальто – за те секунды, на которые мне удалось нейтрализовать супруга. Я придвинула тяжеленный комод из прихожей к двери спальни, откуда он, являя абсолютное сходство с быком на предпоследнем этапе корриды, ломился убивать меня, невольню сыгравшую матадора. Выскочив за дверь, я мчалась, мчалась наискось через черные дворы к единственному человеку, ни разу не наплевавшему на меня – к тебе.

В подобных ситуациях мне и раньше случалось ночевать у тебя несколько раз, и тогда я становилась жертвой старомодной галантности твоего отца – в общем, вполне терпимого полковника. В любом случае, он казался ягненком по сравнению с тем Франкенштейном, что громил тем временем мою квартиру.

Дверь отворилась очень быстро, словно ты ждала в прихожей, – и, помнится, мелькнуло у меня в уме, что мы додружились до телепатической связи. В нос мне сразу ударил восхитительный запах курицы, жаренной с чесноком, и я успела даже порадоваться предназначенному мне гастрономическому утешению... Ты стояла в прихожей подозрительно нарядная: в палевой шелковой блузке, очень удачно скрадывавшей уже тогда начинавшие становиться очевидными недостатки фигуры, с ниткой прабабкиных кораллов на шее и в легкомысленных бриджах. Я только зафиксировала увиденное как факт, не сумев сделать выводов – не до того мне, прямо скажем, в те минуты было! Я привыкла к твоей дружеской безотказности и поэтому почти сразу – и совершенно напрасно! – взяла уже принятый между нами тон уверенности друг в друге:

- Слушай, Симка, я опять у тебя ночью, не обидишься? – и сделала шаг вперед, инстинктивно ожидая, что ты, улыбнувшись, отступишь, пропуская меня в квартиру.

Ты не отступила – и я грудью налетела на тебя, толкнув, но не заставив сдвинуться с места. Я еще так полна была собственной семейной обидой, что не успела вовремя озадачиться. Мы двусмысленно затоптались на пороге – я, дура, все пыталась обогнуть препятствие, пока не сообразила вдруг, что твои движения не случайны, а вполне осмысленны и имеют определенную цель – не впустить меня в квартиру. Только тогда я подняла на тебя взгляд – по всей видимости, детски-изумленный и обиженный. Твои глаза с моими не встретились, они бегали – именно в тот момент я хорошенько поняла, что означает это выражение.

- Рита, послушай, – понесла ты полную бессмыслицу. – Нельзя же так... Не предупреждая... У меня тут... Ну, ты понимаешь... Короче, я сегодня не могу... Совсем... – говоря так, ты быстро и тревожно трясла головой вбок и назад.

Я начала смутно догадываться, но до сих пор не могла поверить, что из-за очередного, одного из многочисленных, сексуального приключения можно выставить, считай, бездомную, полуодетую близкую подругу – ночью на улицу! И потом – где папа-

полковник? Я не сумела задать никаких вопросов, они даже не сформулировались в голове, просто промчались летучим табунком – когда вновь услышала твой сбивчивый лепет:

- Понимаешь, отец за год впервые дома не ночует... А мы с Ильей! Где только не были за это время! И в чистом поле, и в мастерских каких-то кошмарных... В первый раз! В первый раз нормальные условия... Чтоб не наскоро, на дверь не оглядываясь... И еще, знаешь, сегодня очень важный день... Я приняла решение... Жизненное... Потом расскажу... Ну не могу я, понимаешь! Именно сегодня не могу – хоть режь! Когда угодно, Ритка, что угодно – но не сейчас! Ну попробуй домой пойти – твой уже, наверное, отрубился... Ну, не обижайся, Рита, ну, прости пожалуйста... – и, бубня все это, ты ненавязчиво двигалась вперед, выдавливая меня – ошарашенную, отказывающуюся что-либо понимать – на лестничную клетку, и я отступала, как под гипнозом.

Опомнилась только убедившись, что дверь, негромко щелкнув, замкнулась – и тогда сломя голову бросилась вниз, моментально залившись слезами и оттого не видя ступенек...

Кажется, я ехала на каком-то транспорте и даже делала пересадки. Может, я хотела добраться до родительского дома и переночевать там. Может, просто инстинкт гадливости гнал меня прочь от двух наиболее близких мне в жизни людей, утративших право называться таковыми, но оказалась я вдалеке от знакомых мест, на Балтийском вокзале, возможно, надеясь переночевать в зале ожидания – удел всех гонимых... Но зачем тогда, не беря билета, я тупо села в вагон последней отправлявшейся электрички? О чем думала, когда ехала? Ничего этого я не помню и вспоминать не хочу. Брезжит, правда, в неверной памяти отблеск какого-то очень забавного названия, словно не Россией, а Африкой отозвавшегося, забавностью и привлекшего... Нет, не вспомнить!

Ноябрь в том году случился теплый и влажный. Находясь все в том же оцепенении, я, вроде бы, пошла какой-то тропинкой, ведущей прочь от железной дороги, пересекла в полной темноте шоссе, затем опять оказалась среди деревьев, но с твердой почвой под ногами. А потом деревья неожиданно кончились, и ноги провалились в мягкое. Одновременно я увидела прерывистую цепочку огней очень далеко впереди, уловила слухом ленивый плеск большой массы спокойной воды и догадалась, что темной ноябрьской ночью вышла в незнакомом месте на берег Финского залива.

Неожиданно ступор спал, и мне даже полегало, когда я осознала необычность ситуации и вспомнила, что никогда в жизни не была у залива не летом и не днем. Меня охватило чувство, похожее на любопытное возбуждение, и я осторожно, почти на ощупь, двинулась по песку вперед. Пока шла, глаза постепенно привыкли к слабому свету ночного неба, отраженного в темном море, и потому я различила кромку воды, где ритмично набегали на берег низкие и почти бесшумные волны. Слегка шуршало в них ледяное крошево, отчего волны казались неповоротливо тяжелыми, а вдалеке слева я угадала вечный знак надежды – мерные вспышки неутомимого маяка... Постояв у воды, я тихонько пошла вдоль берега, настороженно прислушиваясь к себе и уже предугадывая, что сегодня мне предстоит нечто совсем новое, еще небывалое в жизни, к чему следует готовиться не торопясь, а подготовившись – принять со спокойным достоинством. Наверное, было холодно, но меня это как-то не касалось. Несмотря на отсутствие колготок и шапки, я, обреченная на окоченение, непостижимым образом не испытывала никаких неудобств. Мне было, даже, вроде, уютно в моем длинном мягком пальто. В ботинки я наугад попала в удачные, на плоской подошве, потому могла теперь без опаски шагать по хрустящему песку – и хруст преувеличенно громко звучал в ночи... Точно знаю, что в те минуты я не страдала, по-видимому, уже соприкоснувшись с запредельным. Надо мной стояло безмолвное густое небо, по левую руку ненавязчиво нашептывала черная ледяная вода, а по правую, за смутно серевшим песчаным пляжем, стояла непроглядная тень без единого проблеска – то ли парка, то ли просто рощицы.

«Ну, надо же! – в крайнем изумлении и даже некотором преклонении перед ситуацией подумала я. – Кто бы еще сегодня днем сказал мне, что ночью я буду в

одинокости ходить по берегу залива – покинутая и преданная всеми – я бы рассмеялась! Настолько не похоже все это на всю мою предыдущую жизнь! Вот Симка – ее бы это не удивило и не озадачило – наутро подобная прогулка запечатлелась бы на очередной картинке... Симка бы... Стерва». Но настоящее зло на подругу не поднималось в душе – я даже где-то была благодарна ей за то, что из-за ее каприза в эту ночь я испытываю ощущения, по определению мне заказанные. И выходит, не так уж и сомнительны эти «богемные» чувства, не так уж и презренны – в смысле «приличная женщина с соответствующими установками никогда бы не могла оказаться в такой ситуации».

Темнота отчетливо сгущалась, а я все бродила по изгибистому берегу, готовясь, но еще не почувствовав того смутного, чего подсознательно ожидала.

Оно пришло сзади. Всей спиной я ощутила огромный липкий страх, неотвратимо надвигавшийся. Я обернулась сразу – и хорошо: следующую секунду я бы, наверное, не смогла этого сделать. Сзади никого не было, ничто не шевелилось на сером песке – но за секунду я пронзительно осознала простую, доступную мне и раньше истину: я нахожусь ночью одна в незнакомом пустынном месте, понятия не имею, какой дорогой сюда пришла, и теперь, в темноте, совершенно исключено, чтобы я благополучно отсюда выбралась. Любая встреча с человеком может оказаться для меня роковой, потому что вряд ли судьба столкнет здесь двоих людей, романтически мающихся под ночным небом, борясь с горькими жизненными обстоятельствами. Скорей всего, меня банально изнасилуют и зарежут; бежать некуда, потому что за пляжем – только черные деревья, и среди них, наверняка, еще страшнее... Но, может быть, все-таки целесообразнее спрятаться в чаще, чтобы не привлечь ничьего внимания своим маячащим силуэтом?! Я бросилась через пляж к темнеющим зарослям, но по мере приближения к ним, ужас, успевший со спины перебраться ко мне внутрь, угрожающе рос и рос, словно я проглотила огромную скользкую жабу, и она начала во мне пухнуть... Добежав до высокой жухлой травы, – а может, то были камыши – я вытянула вперед руки, и раздался омерзительный злоедающий треск. Решив, что проламываться сквозь растения ни за что не стану, потому что пока буду это делать, сойду с ума, я развернулась и кинулась назад, к воде – там, по крайней мере, находилась раз освоенная территория. Добежав до кромки, я встала, держась за голову, и на меня второй раз снизошло изумительное озарение: я в ловушке на этом пляже. Пока не начнет светать, мне придется неустанно ходить туда-сюда, и только с первыми лучами солнца, а если придут облака, то еще и позже, я смогу отправиться на поиски обратного пути – это, конечно, если до рассвета я попросту доживу; сволочь Симка! – этой ночи я вовек не забуду! Я беспомощно оглядывалась, отчаянно вертя головой. Тишина и покой уже не казались дружелюбными – я была уверена, что десятки неведомых опасностей подстерегают меня там, куда не способно достичь мое зрение и проникнуть слух – а значит, в любой момент осязаемая угроза может плотью предстать передо мной в ночи – я же беспомощна, беспомощна, беспомощна! Господи, что делать!

Может быть, я произнесла это последнее вслух, потому что в ту же секунду вспомнила свою покойницу-прабабушку. Бабуля умерла, когда мне было лет восемь, но почти до самого дня своей смерти она исправно укладывала меня спать сама – и всегда пела странные песни, вовсе на песни не похожие. Но слушались они в охотку, потому что звучали красиво, и отчего-то заставляли сладко поднимать душу. Бабуля пела тихо, потому что, как теперь я знаю, это были молитвы, псалмы Давида, и мама всегда очень негодовала, услышав, как замусоривают голову ее драгоценной продвинутой дочке:

- Что, колыбельных, что ли, нет нормальных, русских, старинных?! Нет, она белиберду церковную воет! Как услышу – так меня аж скручивает!

Но бабулечка не только продолжала мое моральное разложение, но еще и наставляла потихонечку:

- Ты, Риточка, не забывай песенки-то эти... Они, знаешь, на всякую надобу писаны... Станет тебе как-нибудь мутно на душе, или, там, страшно – так и затяни какую из них, сразу полегчает, испытано... И не только мною... Знаешь, сколько лет этим песням?

Три тысячи... Вы, поди, и число такое в школе не проходили... Нет, сейчас не пой ничего, моя хорошая, – мама рассердится... А время придет – и споешь однажды. Когда ничто другое не поможет.

На тот момент больше двадцати лет прошло с прабабушкиной смерти, и опробовать сей оригинальный способ борьбы с темным ужасом мне за это время ни разу не доводилось. Хотя одну из песен я не забыла – чаще других пела ее бабулечка. Я как-то странно помнила ту песню: никогда не повторив ее ни вслух, ни про себя, я откуда-то безошибочно знала, что когда понадобится – спою вот так сходу, только это действительно произойдет тогда, когда другой надежды не останется. Такой час пришел – и я начала, сперва хрипло и тихо: «Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его, Благословен еси Господи. Благослови, душе моя, Господа и не забывай всех воздаяний Его».

Непривычно для меня зазвучал собственный голос, сопровождаемый шепелявой подпевкой легких волн, но я сразу почувствовала, что пока эти слова звучат – не так страшно: «Очищающего вся беззакония твоя исцеляющего вся недуги твоя, и избавляющего от истления живот твой, Венчающего тя милостию и щедротами...».

Голос сам собой набрал уверенность, я запела громче, и мной снова начало овладевать чувство фантастичности, неповторимости происходящего – и его высокой значимости. «Исполняющего во благих желание твое, Обновится яко орля юность твоя. Щедр и милостив Господь, Долготерпелив и многомилостив...».

И опять, как в детстве, полузабыто царпанул меня по сердцу непонятный, но очень милый «орля», ассоциировавшийся с невзрослым орлом, а вовсе не орленком из пионерской песни. Что-то очень ласковое, действительно детское слышалось в этом «орля», да еще в строке, где обещалось обновление драгоценной, так скоро миновавшей юности... А вот желание за последние два года я прочно взрастила в себе одно: чтоб мой муж сдох. Я даже не могла применить к нему человеческое слово не то что «умер», а даже «помер». А окошел бы под забором – и я, наверное, ногой бы наступила на его поганую харю. Но именно это желание было неисполнимо, потому что псалом, который я вдохновенно начала петь по второму разу, обещал исполнение желаний только «во благих», что, конечно, правильно. А еще он утверждал, что Господь долготерпелив и многомилостив. То есть, что Он еще долго будет терпеть пьянство и издевательства этого ублюдка надо мной – все давать ему шанс исправиться безо всякого наказания, и это тоже справедливо: шанс должен иметь каждый. И, собственно, какие у Бога основания любить меня больше, чем моего мужа – ведь, долготерпя его, Он дает шанс нам обоим. Другими словами, бесконечное продление моих страданий должно в конце концов оказаться полезным. Казуистика. На такое я никогда не соглашусь. Впрочем, моего согласия никто и не спросит. Но все равно – «...благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя – имя святое Его...».

Я почувствовала чье-то присутствие неподалеку раньше, чем увидела его – просто поняла, что больше не одна, и все. А уж потом заметила, что верхушка одного из валунов, живописно наваленных друг на друга на берегу, шевелится. Я не вздрогнула, потому что камень сразу же принял очертания животного, а именно – кота, послышался звук «мрм-м» – и он легко спрыгнул мне под ноги. Я даже не задалась вопросом, откуда здесь взялся коту, обрадовавшись ему как близкому другу.

- Киса!! – возопила я, нагибаясь и раскрывая ладони, больше всего на свете боясь, что он сейчас убежит. – Кс-кс, иди сюда, котик, кс-кс-кс, иди ко мне...

Но гордый зверь явно не нуждался в моем плебейском шипенье. Он доверчиво протянул мне лапы, как руки – и я сразу же подхватила его в объятья, тесно прижав к себе. Надо сказать, что до того момента страстной любовью кошкам я не пылала, скорей наоборот. Но слов нет выразить, как я обрадовалась живому существу в те минуты! Казалось, сгодился бы и хомяк на такой случай, но теперь понимаю – нет: требовалось существо интеллектуальное и на ощупь приятное, каковым условиям удовлетворяет почти

любой кот. Поговорка «ночью все кошки серы» этому котяре не подходила, потому что он, насколько это возможно рассмотреть в глухой час ноябрьской ночи, был действительно роскошно серым, без полосок, и днем, вероятно, имел добротный глубокий мышастый окрас – но при свете мне, увы, взглянуть на него уже не пришлось...

Он сразу продемонстрировал царственную независимость, выбарахтавшись у меня из рук и устроившись сразу на правом плече, что заставило меня выгнуться вбок – но ни за что не сбросила бы я этой торжественной ночи. Далее неожиданный спутник мой непринужденно поехал на мне, сдержанно при этом мурлыча, а я, освоившись в ситуации, вновь завела псалом – на сей раз вспомнив другой, но на ту же тему: «Хвали, душе моя, Господа! Восхваляю Господа в животе моем Пою Богу моему дондеже есмь...».

Так репертуар наш с котиком расширился, и мы степенно ходили взад-вперед по пляжу – причем, уставая, я спускала котика вниз, полностью уверенная, что он никуда не денется. И правда, он держался рядом, как собака, то опережая, то чуть отставая, но неизменно вблизи, готовый опять быть поднятым на плечо...

До сих пор не знаю, хорошо или жаль, что нас никто не видел и не слышал: такое действительно увидишь и услышишь не каждый день – кому-то воспоминаний могло хватить надолго! Но никто третий не явил нам себя, ночь прошла в псалмах и взаимной ласковости – и я почти удивилась, когда на горизонте справа возникла светлая полоса. Наверное, я уже сроднилась с этой ночью и всем, что ее наполнило, и мне казалось, что теперь она не кончится никогда. Вскоре кругом незаметно стало не черно, а серо – и кот мой исчез так же неожиданно, как и появился: в очередной раз бережно опустив зверя на песок и на пару секунд отвлекшись, я больше его не увидела. Напрасно я металась, карабкалась на валуны и взывала рассвет:

- Кис! Кис! Кис! – он ушел навсегда, очевидно, посчитав свою миссию выполненной.

После этого я неожиданно легко нашла довольно широкую аллею меж деревьев и скоро услышала вдали стрекот первой электрички. Припустив наугад, я выскочила к грязно-белой мокрой платформе и успела в закрывающиеся двери последнего вагона, позабыв, конечно, взглянуть в окно и прочитать название станции, где испытала столь странное приключение.

Та ночь дала конкретный положительный результат. Я приехала в Петербург с твердой уверенностью, что жизнь надо менять в корне – словом, оказалось, что ночью я пережила определенный катарсис. Первым делом я продала подчистую все золотые побрякушки, которые у меня еще оставались, и сняла однокомнатную квартиру в пригороде, что обошлось много дешевле, чем в Питере. С мужем безо всякого сожаления развелась тогда же и с тех пор его не видела, к чему никогда не стремилась. Два года спустя я работала в новой фирме, успев защитить диссертацию, и была замужем за своим коллегой – без умопомрачительной страсти, зато спокойно и надежно – а еще через год родила Борюсю, моего очаровательного ребенка.

Дружба с Симой через некоторое время возобновилась, словно сама собой – она появилась вдруг жалкая, подурневшая, глубоко беременная – и мне показалось неловко ее сразу вот так выгнать. А долгая дружба, как и старая любовь, за годы приобретает много неоспоримых прав и возможностей – например, непредсказуемо обновляется... Так и осталась Сима в моей жизни по сей день, когда пришлось и ей встать у меня в прихожей и давно возвращенным меж нами тоном взаимной уверенности сообщить:

- Слушай, Рит, я сегодня у тебя ночую – ничего?

* * *

Уж, кажется, можно было за тридцать лет уяснить себе, что я чая не пью – никогда – ни капли – никакого. Что мне все равно – черный плиточный мусор, или тот, что ежеутренне изволит пить английская королева. Я не различаю их на вкус, а если вдруг по великой жажде все-таки сделаю глоток-другой, то всегда вспомню при этом банный веник... Но нет, тридцать лет подряд, начиная с того дня, когда первоклашка Рита впервые

пригласила домой соседку по парте Симу поесть клубничного варенья, каждый раз, садясь с ней за стол, я слышу одно и то же: «Ты чай будешь или кофе?» – и почти в одних и тех же выражениях отрекаюсь от чая в пользу любого, пусть даже самого невзаправдашнего кофе. В тот вечер я взбунтовалась, кажется, впервые:

- Рита, давай, наконец, табличку у тебя над столом повесим: «Симе чаю не предлагать!»! Почему нельзя было хоть что-то касающееся меня, взять в голову и не забывать?! Хоть мелочь какую-то, а?! И не долбить меня, как дятел, idiotским вопросом, на который я тебе еще в первом классе ответила – раз и навсегда!

Рита отреагировала весьма странно:

- Знаешь, ты, по-моему, можешь успокоиться: убить кого-то, конечно, хотят, но не тебя. Даже жалко, – и на лице ее не появилось усмешечка, долженствующая показать, что подружка пошутила.

Если бы кофе был уже у меня в чашке, то я бы им поперхнулась – и не продышалась.

- Жалко – в каком смысле?

- По тому, как ты живешь, удивительно, что ты до сих пор не нарвалась на крупные неприятности, – пожав точеным загорелым плечом так энергично, что с него соскользнула тонкая бретелька маечки, пояснила Рита. – А жалко потому, что убить все равно не убили бы – ты неистребима – а вот мозги такая ситуация тебе, определенно, прочистила бы. Но... – она звонко щелкнула пальцами. – Это не за тобой охотятся.

Должна признаться, что я остолбенела, и у меня появилось странное ощущение, что... Сказать, «что я сплю» – глупо, потому что такое ощущение у человека в здравом уме может появиться только в дурном романе – и тогда он обязательно ущипнет себя за кисть. Я испытала явное, но совершенно невыполнимое желание нажать на какую-нибудь кнопку и прокрутить всю ситуацию назад. Но увы, это только режиссер на репетиции может хлопнуть в ладоши на актеров, как на щенков, и крикнуть им: «Стоп! Не верю! С самого начала эту сцену!».

Ведь невозможно, неправильно, вопиюще бесчеловечно, наконец, встретить такой отповедью рассказ близкой подруги о том, что в течение последнего часа она чуть не погибла три раза подряд – и лишь чудо каждый раз спасало. Да человек, переживший такое, может нуждаться в срочной медицинской помощи, а если он настолько крепок, что немедленный вызов «скорой» не требуется, то уж проявить теплое участие, успокоить, посоветовать – прямая обязанность друга. Преступление – усугубить состояние несчастного неожиданной грубостью!

- Ты, может, думаешь, я пошутила? – с надеждой спросила я. – Сочинила страшилку, чтоб нам вместе посмеяться? Если так, то знай: все, что я тебе только что рассказала – суцкая правда... И твои странные фразы о моей неистребимости... И так далее... Совсем не в тему... Я хотела, что б мы в милицию вместе пошли – я теперь из твоей квартиры одна и шагу не сделаю...

- Да знаю я, что правда. – начала Рита, но ее перебила Сорокова Моцарта – запел мобильный.

Пять минут я тупо слушала воркотню счастливой жены, беседующей с любимым мужем, позвонившим с дачи, куда поехал проведать собственную мать и чадо, пестуемое там:

- Да-а? Ну, молодцы! И сметанки поел? А ты проверил – у него ножки не промокли? И ручки теплые? Куда ходили? Ты смотри, Саша, на озере с Бююси глаз не спускай! Зачем сейчас? Скажи ей, что я только перед сном даю... А борщ доели уже? Ну, доедайте, а я приеду – горох сварю, как раз рулечку купила копченую, как ты любишь...

И тут мне захотелось заорать. Нет, не на эту дуру кромешную, которая спокойно порет пошлую сушь в присутствии почти умирающего человека. А просто обхватить голову руками, раскрыть пошире рот и очень громко произносить звук «а» до тех пор, пока, допустим, в окне не лопнет стекло. Интересно, что будет, если я действительно это

сделаю? А она, как ни в чем ни бывало, с отсутствующим взглядом и придурковатой улыбкой, дудела в свою дуду:

- Да-а? Ну, расскажи, Борюсик, как ты по маме скучаешь? Ах ты, мой котенок! Мама скоро придет и привезет тебе большого-большого гнома...

Идиотка! Разве можно покупать ребенку такие уродливые игрушки?! Я тоже по телефону разговариваю с отцом и Васечкой, но, надеюсь, не выгляжу при этом сумасшедшей и, конечно не несу в трубку слащавый бред – да закончит ли она когда-нибудь?!!

Рита закончила – и похитила у вечности еще, по крайней мере, минуту, чтобы вернуться в нормальное состояние.

- Ты на что намекала?! – зло спросила я. – Что это у меня, по-твоему, за жизнь, что я обязательно должна огрести неприятности? Я что – мафиози? У меня что – сомнительные знакомства? Или для тебя любой человек, который не мотается каждый день, как собачий хвост, на работу – домой и обратно – уже подозрителен? Ты говори, не стесняйся!

Только теперь она начала производить какие-то движения, похожие на те, которые делает человек, намеревающийся сварить кофе. Поэтому отвечала невнятно, меж каких-то лишних порывов и приседаний:

- Да не образ жизни... а сама душа... Понимаешь? У тебя даже твоя безалаберная, в общем, жизнь... Где эта чертова джезва... Уже настолько устоялась в безалаберности, что ее можно принять и за нормальную, но... Тебе прямо с сахаром варить, или сама положишь? Внутри у тебя, извини, полный кавардак... Полный! И именно потому с тобой обязательно что-нибудь случится... Потому что ты – допускаешь...

- Допускаю – что? – пискнула я. – Мне без сахара... Я потом...

- Да то, о чем другие люди и в бреду не подумают, вот что! Вот мне, например, что бы ни случилось, не пришло бы в голову, что меня могут преднамеренно убить. Что угодно, но не это! Моя жизнь такова, что это абсолютно, категорически – исключается. Исключается! Случайно, по ошибке, травма смертельная – допускаю, от такого никто не гарантирован. А ты считаешь на полном серьезе, что тебя убивают. Вывод: либо ты во что-то такое вляпалась, что и мне не говоришь...

- Я ни во что не вляпалась! – взвизгнула я. – Ты что, в своем благополучии вообще умом двинулась?! Я уже двадцать раз объяснила тебе, что не знаю, почему...

- Значит, знаешь или подозреваешь, по крайней мере, раз сразу не исключает, как сделал бы любой нормальный человек, – отрезала Рита.

- Не знаю!! – надрывно всхлипнула я. – Не подозреваю! И это – страшней всего!

- А раз так, то успокойся, – принялась она наставлять меня, как непутевую. – Людей умышленно убивают в каких случаях? В очень немногих... – она подняла растопыренную пятерню, вольно или невольно продемонстрировав свой безупречный маникюр, и стала по одному загибать их: – Ну, деньги... С этим явно отпадает. Второе – ревность... Ты этого твоего... Сержа... нынешнего отбила у кого или как? Точно «или как»? Тогда тоже отпадает. Власть, зависимость... Ну кому от тебя зависеть, ты сама ото всех зависишь, третий палец загибаем... Что бишь там еще? А еще – это уже из детективов. Начнем с Агаты Кристи... Наследство? У тебя нет дяди-миллионера в Америке? Жаль, а то бы сразу все прояснилось. Дальше – родственники со стороны умершей матери. Детдомовская... Опять не подфартило, а то знаешь, как просто: ее троюродная тетка помирает, отписав тебе двухэтажный особняк с башней и флигелем, потому что, будучи в маразме, поссорилась с любимой внучкой, которая за ней пять лет горшки выносила... Ты про них обеих и понятия не имеешь, а вот внучке в самый раз подослать к тебе недорогого киллера... Конечно, недорогого, дорогой бы три раза не облажался... Ну-с, что там у нас на очереди? А на очереди у нас самое трудное: увидела или услышала то, что не должна была видеть или слышать. Для того, чтобы это исключить, вспоминай давай быстро в подробностях всю свою жизнь за последние три недели...

К тому времени я уже задыхалась от злости и впервые за тридцать лет серьезно задумывалась – а не съездить ли по холеной физиономии лучшей подруги? Но пока что только прошипела:

- Нет, знаешь ли... У меня на глазах младенцев не душили и в чемодан миллион баксов на клали! Я бы, знаешь ли, запомнила...

- Не скажи! – Рита, похоже, увлеклась процессом пытки и развивала тему с удовольствием, глаза загорелись хищным зеленоватым светом. – Это могло быть что-нибудь для тебя совершенно незначительное! Например, ты случайно увидела человека не в том месте, где он должен был быть... Или услышала невинную фразу, повторение которой в присутствии лица «икс» чревато для кого-нибудь страшными последствиями... Словом, это то, что разгадать практически невозможно...

- Очень обнадеживает – главное, есть о чем в милиции рассказать.

- А маньяк! – весело вскричала Рита. – Про маньяка-то мы и забыли!

- Ага, который охотится за старой толстой теткой, но насиловать ее принципиально не хочет – а просто грохнуть любым способом...

- Да разбирайся с ними, маньяками! – в азарте махала обеими руками моя подруга. – Был же какой-то, резавший всех встречных баб в синих кофтах, потому что в детстве его тиранила учительница, кажется, не имевшая другой одежды... Ай! Кофе!

Я никак не прореагировала на происшествие, и тогда Рита тоже решила больше не заботиться о моем угощении, лишь повернула рычажок конфорки и возбужденно затрещала в свое удовольствие: – А наш (твой, в смысле) убивает женщин в шикарных кожаных плащах бежевого цвета... Кстати, плащик-то где нарыла?

Я мрачно объяснила, и Рита вдруг замолкла, сосредоточенно возя губкой по заляпанной коричневой плите. Я видела только голую спину с розовыми прыщиками меж лопаток, и мне почему-то почудилось, что Ритка думает спиной. Какая-то задумчивая и неприятная была спина...

- Слушай, а у Марьяны этой волосы тоже – м-м... темно-пепельные? – вдруг уронила Рита. – И стриженные вот так по-дурачки? То есть, я хочу сказать – современно?

- Ну, в общем, похоже... А что? – насторожилась я.

- А то, что все равно детектив выходит. Только не Кристи, а Жапризо! – плавно обернулась моя все-таки умница подруга. – Я с самого начала поняла: тебя с кем-то спутали. А теперь точно знаю, с кем. Вот именно с ней, с Марьяной этой. Провалиться мне на месте, если это не так!

Я помню, что выпрямилась на табуретке, как стрела, с минуту смотрела на Риту в упор и за эту минуту вполне ясно поняла, что она права. И, встряхнувшись, уже я стала рассуждать вслух:

- Потому что одета я была в ее плащ, подстрижена почти как она, а лицо...

- А лицо у тебя, если не приглядываться, то не очень-то и приметливое! – с ноткой злорадства, тотчас же прощенной мною, подхватила Рита.

- И единственное место в моей жизни, где люди имеют дело с крупными деньгами, это их семья: Марьянин муж, ученика моего отец, аж владелец какого-то коммерческого канала на телевидении...

- Так это в их разборки ты случайно, из-за плаща, угодила! – подытожила радостная Рита.

Я спохватилась:

- Хорошо, даже если это так – что мне делать-то теперь?

- А ничего! – Громко и торжественно объявила она. – Идти домой и отоспаться после нервотрепки. Раз охотятся не за тобой, а от слежки ты благополучно смылась, то адрес твой никому неизвестен и не нужен... погоди... Неувязочка... Если они такие богатеи, то почему убийца не удивился, что она не на машине поехала, а черт-те за чем в метро поперла?

Пришел мой черед беззаботно махнуть рукой:

- Вот тут как раз все ясно. У нее, видишь ли, пунктик. Она развлекается, воображая себя... Ну, собственно, тем, что она есть: миллионершей и женой знаменитости. И она любит, так сказать, инкогнито, пройтись в толпе среди «быдла»... Даже Рынок Апраксин посетить может и купить там что-нибудь, честное слово!

- Так значит, все сходится! – ликовала подружка. – Стопроцентно сходится! Кстати, у тебя номер ее сотового есть? Предупредить все-таки человека надо... Она где сейчас?

- На даче. Два дня уже, муж говорит... – пробормотала я, смущенная тем, что не мне первой пришла в голову здравая мысль сообщить человеку, что за ним бегают киллеры. – А этот, который нас спутал – он не знает, получается... Думал, она без ребенка не уедет, а отец Славика только сегодня должен был отвезти... – говоря так, я тыкала в свой телефон, ища номер в списке.

Но меня ждало разочарование: нарочито бесстрастный голос (обладательницу которого давно бы уже разыскали и убили, не будь она роботом) сообщил, что Марьянин аппарат выключен. Поскольку находится «вне зоны действия сети» она никак не могла, то мне пришлось сделать вывод, что моя работодательница давно сладко спит на своей даче, накушавшись любимого «Бейлиса».

- Завтра звонить придется, – заметила Рита, но я разволновалась:

- А если убийца, упустив ее, то есть меня, сегодня, увидит, что домой она не вернулась и поедет убивать ее напрямиком на дачу? Надо в милицию бежать, Ритка, это не шутки, надо сказать им...

Я почти поднялась с табуретки, охваченная первым естественным порывом порядочного человека в подобной ситуации, – но Риткина твердая докторская рука тяжело опустилась мне на плечо:

- Рехнулась? – прозвучал чужой жесткий голос. – Впутаться в их дела серьезно – это смерть, ясно? Лучше бы и ей ничего не говорить, да нельзя грех такой на душу брать... А милицию приплетать – себе дороже выйдет. Там у них неизвестно что за мафия, и с милицией так или иначе повязаны все. Влезешь – раздавят, как червяка и не заметят. Запомнила? А теперь иди домой.

Домой? Мне абсолютно не хотелось возвращаться в пустую квартиру, хоть я и уверилась в железной правоте нашей версии – но взгляд Риты опять отяжелел и напомнил мрачного хищного зверя – не из семейства кошачьих, а какого-то гораздо более опасного, вроде доисторической рептилии. Я почти испугалась и пролепетала:

- Эх ты, Ритка, я к тебе как к лучшей подружке, а ты...

- Мне тоже случилось однажды прийти к лучшей подружке, – словно мимоходом пожала плечом она.

Глава 2 Любовь

*...и дела рук наших исправи на нас, и
дело рук наших исправи.*

Пс.89, ст.17

Я вспомнила только на обратном пути – и то после того, как многократно обернулась и убедилась, что за мной никто не идет, а значит, все выводы, принятые сегодня совместно с Риткой, – верны, и моей жизни ничто не угрожает... Вспомнила, что она имела в виду... И подумать нелепо – семь лет она отогревала такую гадюку на груди – чтобы однажды кинуть мне в лицо! Только гадюка не ужалила: я вот вполне спокойна сейчас, иду домой почти утешенная, а ей, Рите, той осенней чернильной ночью пришлось убраться неведомо куда – она так и не рассказала, как сумела выпутаться. Может быть, даже произошло что-то сверхординарное, какой-то камень упал в дремучее болото ее сознания – и она, до того

фанатично исповедовавшая порочный принцип «иметь самого плохого мужа все же лучше, чем никакого», вдруг окончательно и бесповоротно разошлась со своим монстром, а сама стала похожа на человека с человеческой жизнью и обрела даже какие-то дополнительные стремления кроме единственного, доступного до тех пор: не быть забитой до смерти. А потом и вовсе выскочила замуж за очередное ничтожество – правда, непьющее, – и родила ему какого-то там мальчишку; я стараюсь видеть его пореже, как, впрочем, и всех чужих детей.

Честно говоря, я сильно переживала: к тому моему поступку применим один-единственный и совершенно точный эпитет: сволочной. Это я и сама знаю, нечего и напоминать, тем более что в том же году я подробно рассказала Ритке обо всех причинах-следствиях – и она, вроде бы, не только простила, но и согласилась, что никакого другого приемлемого выхода сыскать вот так за несколько минут я не могла...

Теперь мне уже не больно вспоминать – и это главное. Я спокойно могу перечитывать Илькины письма, часами рассматривать у себя за шкафом ночью наши фотографии, перебирать в большой папке свои наброски, эскизы, запечатлевшие мое неповторимое видение тех мест, что были дороги нам обоим, – сохраненные надолго вехи нашей любви... Горбатый мостик через канал Грибоедова, где мы, циничные опытные люди, целовались по-школьному робко; неприметная и вовсе не симпатичная улочка, посередине которой одной светлой ночью простояли, обнявшись, целый час – и уже не целовались, потому что в те минуты соприкоснулись и не могли разъединиться души; бесконечная зимняя аллея в загородном парке с сытой серой белкой, замершей на заиндевевшем стволе, вводила меня в один из лучших дней моей жизни, дней, каких у каждого из нас немного, дней абсолютного, ничем не омраченного счастья... Давно уж нет – я проходила недавно мимо – того кафе, где мы отмечали мое тридцатилетие, еще не зная, что и двух месяцев не пройдет, как мы расстанемся и больше не увидимся... А ведь на фотографиях в том кафе мы счастливы по-особенному: восторженно сияют глаза у обоих, и невозможно, просто возмутительно и пытаться вообразить, что эти два, друг в друга устремленные человека, очень скоро не будут вместе, и это навсегда...

Странно, но до начала нашей с Ильей любви, мы были знакомы года три, посещая одну и ту же студию, а потом случайно столкнувшись в мастерской у друзей и регулярно там встречаясь. Мы виделись на всяческих арт-тусовках и выставках, невинно симпатизировали друг другу – и даже никогда не обменялись телефонами! Со мной все произошло в один час, когда после чьего-то юбилея знакомые закинули нас в одно такси – закинули без всякой задней мысли, просто оказалось, что ехать нам в одну сторону, – и по дороге мы, конечно, разговорились.

Это был самый странный роман в моей жизни, но единственная – любовь. Я точно могу определить это по безошибочному признаку: если ни до, ни после Ильи я не прощала мужчинам их мерзостей, то Илье простила наперед все, что он мог когда-либо причинить мне или сотворить со мною – и он с лихвой оправдал мое опережающее прощение. Тогда, в машине, влюбляясь со скоростью шестидесяти километров в час, я отдавала себе ясный отчет, что передо мной как раз тот человек, с которым именно я не могу быть счастлива, потому что для удачной совместности нужно считать мужчину, как минимум, таким же умным, как ты сама. Что же касается Ильи – то первое, что я поняла про него – это что он не менее банальности – если, конечно, оценивать с моей высокой колокольни. Далее в жестокой последовательности передо мной разворачивалась картина нашей несовместности – такой, что закономернее было бы после этой поездки возникнуть вражде, а не роковой любви! Илье было мило и дорого все, что долгие годы вызывало у меня тошнотное отторжение; наши идеалы можно было назвать только взаимоисключающими, причем отдельно взятые его – еще и дурацкими; наше мировоззрение, жизненный опыт, твердые установки на будущее и отношение к людям мира сего – все это обязано было развести нас безнадежно в стороны, а в случае

вовлечения в тайную или явную войну – так и вовсе расставить по разные стороны баррикад...

И вот об этом симпатичном сероглазом шатене средней комплекции, непроходимом дураке и более чем посредственном художнике, я навязчиво грезилась с того момента, как за мной захлопнулась дверь машины (а он, разумеется, не догадался выйти и подать руку) – до следующей встречи, состоявшейся полтора месяца спустя...

Эти полтора месяца я пролетала. Во мне неожиданно вспыхнула работоспособность титана – я закончила и даже продала два больших полотна, к тому времени давно заброшенных за разлюбленностью. Я подстригла и впервые перекрасила волосы, ни разу не поссорилась с отцом и кокетливо опускала сияющие глаза в ответ на один и тот же вопрос, неожиданно зазвучавший изо всех уст: «Симка, ты что, влюбилась, что ли?» – и на несколько видоизмененный – из командной глотки дорогого родителя: «Что, очередной кобелина тебя окучивает?». Я считала часы до открытия выставки в частной галерее, куда оба мы отдали свои работы, и где, конечно, не миновать нам было встречи. А открытие задержали на семь дней! Откуда-то уверенная, что уже названный «любимым» тоже живет воспоминаниями о получасовой поездке в машине с малознакомой женщиной, и тоже ждет-не дождется того же дня, я мужественно перетерпела лишнюю неделю – уж не помню, как.

Когда заветный час настал, я, чувствуя себя полегчавшей лет на десять (определенно, из-за пары быстро выросших крыл), полетела в галерею, где немедленно и натолкнулась на милого. Илья разговаривал с двумя горластыми чудищами и кивнул мне вполборота. Второй раз он удостоил меня взглядом – даже не словом! – когда, уходя, кивнул мне уже в профиль, лишь чуть скосив равнодушный серый взгляд в мою сторону...

Свет померк сразу. Оставалась, еще, правда, нелепая надежда, что, конспиративно проигнорировав меня на публике, Илья дождется меня где-нибудь вблизи от выхода, и я сломя голову поскакала по крутой лестнице вниз, уже точно зная, что скачу лишь убедиться в том, что не он дурак, а я – дура. Я в этом убедилась и на выставку не вернулась, потеряв всякий интерес к сомнительной судьбе своих трех пейзажей и одного портрета. Кто-то, помнится, пытался пристать ко мне в дверях с абстрактными рассуждениями, но я оказалась настолько невосприимчивой, что меня оставили в покое и выпустили с миром. Не чувствуя себя в силах общаться с кем-либо – неважно, насмешливым или сочувствующим – я одна прослонялась по родному городу до позднего вечера и, хотя точно знаю, что выпиться в тот день не могла по причине безденежья, – тот день напрочь выпал из моей памяти.

Зато там сохранились многие последующие, проведенные в состоянии, никогда дотоле не испытанном, описывать которое не то что мучительно душевно, а неприятно физически: сразу начинает нехорошо свербеть сзади в шее, и все время хочется сглатывать, будто во рту остался привкус выплюнутой тухлятины...

Меня – в общепринятом смысле – не стало. Отговорившись мифическим левым заработком, я практически исчезла из дома, бросив как раз прихворнувшего отца на произвол судьбы, олицетворявшейся тогда тетушкой. Но даже если бы ее заменила злыдня пятиуродная племянница, а то и вовсе временный дом престарелых с антисанитарными условиями, – я бы ничего не имела против: кровные узы на тот период словно перестали существовать для меня. Появляясь дома на короткий срок, я окидывала невидящим взглядом окружающие предметы – в основном, с детства любимые – и удивленно констатировала, что они вызывают неодолимое отвращение. Друзья тоже потеряли меня. Являясь без предупреждения у кого-нибудь дома или в мастерской, я несла малопонятную чушь, не слыша чужих комментариев, мимоходом обижала людей полным равнодушием к их проблемам – и опять надолго пропадала. Я не делала ровно ничего созидательного, соответственно, денег не получала, но за то со скоростью света невообразимым образом тратила деньги, с трудом скопленные за четыре года на покупку крошечной квартирki в пригороде – с целью отделаться от мелочной опеки и громкого хамства отца. К тому

времени я, помнится, скопила большую часть нужной суммы, но за пару чумных месяцев лишилась всякой надежды на самостоятельность. Оказывается, потратить солидные деньги очень легко: достаточно просто ни в чем себе не отказывать. А поскольку, чтобы не впасть в перманентную истерику и не рыдать на каждом углу, я держала себя в ровном состоянии легкого подпития, то желания появлялись самые экстравагантные – и были реализованы все, все. Например, я сняла однажды для себя одной целый катер на Фонтанке, и он с ветерком (с ветрищем) прокатил меня не только по всем рекам и каналам, как было обещано владельцем, но и – за дополнительную мзду – покругил по Финскому заливу – а я прихлебывала из плоской бутылочки коньяк и хохотала как безумная...

Я совершила три индивидуальные вертолетные экскурсии над Питером, а когда летать мне прискучило, то вспомнила, что с юности кормила мечту, заведомо не имевшую шансов осуществиться: мне хотелось хоть раз спрыгнуть с парашютом. Но однажды, охваченная никогда с тех пор не повторившимся чувством вседозволенности, и не пожелав даже выяснять какие-нибудь условия, подробности – или хотя бы узнать дорогу – я просто приманила после посадки вертолета первое же встречное такси и велела водителю доставить меня в то место, «где можно спрыгнуть с всамделишным парашютом». Он было заартачился, но я бессловесно показала ему светлый образ президента Франклина меж средним и указательным пальцами – и сразу стала свидетельницей отвратительной метаморфозы симпатичного парня с мужественными замашками тошнотворного холуя, сумевшего даже переменить уверенный баритон на заискивающе-дребезжащий фальцет. Франклины безотказно послужили мне и в аэроклубе, где, вопреки всем циркулярам, другой мужчина приятной наружности – инструктор, тоже, увы, мгновенно и волшебным образом преобразившийся в лакея, сумел подбить на такое же безобразие уж самый образец мужественности – дремавшего в дежурке летчика. Инструктор-лакей весьма формально провел со мной ознакомительное занятие, после чего без лишней волокиты галантно спрыгнул с самолета со мной на пару; парашют на двоих назывался «Тандем». К тому времени очередную бутылочку я уже прикончила, и потому страха, подобающего новичку в столь драматической ситуации, не испытывала ровно никакого. Но и похихотать в свободном полете не удалось, потому что мощный тугий поток воздуха сразу накрепко заткнул мне рот. Дышать, таким образом, тоже оказалось невозможно, поэтому до земли я долетела полуудушенная и шмякнулась на муравку в обнимку с обходительным мужчиной, честно признавшись потом ему и себе, что никаких других ассоциаций, кроме как «мешок с дерьмом» мне на ум не пришло...

Позже я купила себе в дорогом бутике платье из змеиной кожи, точно зная, что надеть его мне решительно некуда. Там же, в бутике, я сунула в урну свои старые джинсы со свитером, промычав отрицательно на любезное предложение продавца вернуть их мне с собой, и гордо продефилировала к выходу в змеином платье и кроссовках, сменять которые на что-то более подходящее я ни за что не хотела... Чтобы закончить о платье: его я лишилась тем же вечером, когда поленилась искать ворота в чугунном заборе и, повинувшись чувству присутствия в чьем-то чужом сне, пролезла между прутьями... И так далее, и так далее...

Рассказывая о подобных эскападах, люди обычно добавляют: «Разрази меня гром, если я знаю, зачем все это вытворял!». Я же твердо знала, что таким образом глушу невероятную, нелепую, но чудовищную боль от сознания того, что мы с Ильей никогда не будем вместе, что я ему безразлична совершенно так же, как и консержка тетя Катя, а может, и более – и от понимания того, что если я не буду совершать все эти безумные поступки, то могу сделать что-нибудь еще более страшное... Но даже и не так просто все было. Меня ни на час не покидала почти твердая уверенность, что все действия и даже чувства мои властно направляет чужая злая воля, и попытки противиться ей просто смешны. Я тогда еще ничего не читала про Франциска Ассизского, но, к счастью, не болела и материализмом, поэтому в те редкие просветы, когда способна была

воспринимать происходящее более или менее реально, порой ужасалась творимому надо мной произволу и порывалась бежать.

Один из таких побегов чуть не спас меня, но, увы, было поздно. Съездив как-то в Петергоф, где жил Илья, я горестно надралась в кафе прямо напротив его дома – и вдруг в окно увидела его самого, выходящего из подъезда под руку с женой, хрупкой брюнеткой, которую он бережно вел к машине, предупредительно нависая над женщиной, словно ограждая ее от любого воздействия злого мира... Видение этого чуждого мне во всех отношениях мужчины, проявляющего закономерную заботу о своей больной (слышала это краем уха) жене, сдернуло меня со стула и бросило к стойке, к телефону. Хотя цифры из книжки к тому времени перед глазами уже плясали, я все-таки сумела набрать номер некоего субъекта – мне безразличного, но прилипчивого, как июльская муха. До того часа он не смел питать и надежды дотронуться когда-нибудь до моего мизинца, а тут я без предисловий выложила в трубку:

- Сдаюсь. Сейчас приеду прямо к тебе, если ты еще не передумал.

Он, к несчастью, не передумал, и для последовавших после той моей фразы суток опять приходится подбирать удачный эпитет. Пусть для разнообразия будет существительное. Допустим: скотоблудилище

Через сутки под вечер я на автопилоте прибыла домой, где на видном месте ждала записка о том, что отцу сделалось хуже, и его отправили в госпиталь. Но состояние мое к тому времени было таково, что ни малейшего впечатления на меня это не произвело: в душе я всегда была уверена, что мой отец – это тот «дуб, который еще пошумит», и особого беспокойства не требует. Как подкошенная, я упала на диван в маленькой, тогда еще моей комнате и долго не желала вставать к сразу заголосившему телефону, уверенная, что это отец из больницы, или тетушка – с упреками и требованиями. Но, видя, что телефон никак не уймется, и слегка забеспокоившись от такой настойчивости, я все-таки до него дотащилась.

- Добрый день, а Серафиму будьте добры, – попросил мужской голос, и я прокляла себя за то, что взяла ее: так говорить мог только кто-то из отцовских товарищей, желающих подробно повыспросить меня о здоровье товарища полковника.

Пришлось признаться и приготовиться к подвигу вежливости.

- Извините, Сима, ради Бога. Это Илья Берестов вас так бесцеремонно беспокоит, – услышала я в ответ.

Сердце оторвалось и рухнуло вниз; в голове образовалась классическая пустота, но язык, этот независимый гибкий орган, уже делал свое дело без моего участия:

- О, привет, Илья! Сколько лет, сколько зим! Рада слышать! – тон получился спасительно легким, меж тем как в мозгу пронеслось вспышками зарниц: «Значит, все-таки правда! Я ему нравлюсь! Просто только теперь он набрался храбрости – вот и все!».

- Мне очень, очень неудобно, поверьте, – продолжал Илья. – Но я не стал бы отрывать вас от дел, если бы не крайняя надобность...

- Все, что могу, пожалуйста! – уверила я, стараясь подбодрить, не испугать неприступностью.

- Видите ли, мне сказали, что у вас есть хороший стоматолог... А у моей супруги, Вари, очень серьезная проблема с зубом... Этот, как там его, пульпит или не знаю что, но она очень мучается. Мы бы, конечно, не стали никого беспокоить и просто обратились бы в платную клинику, но... То есть, я хочу сказать, что на клинику очень дорогую денег у нас просто не хватит, а ведь только там можно решить такую деликатную проблему...

- Какую проблему? – выдавила я сквозь твердый комок в горле. – Пульпит вылечат в любой районной поликлинике – бесплатно и с обезболиванием.

Я перестала оценивать действительность, лишь чувствую, что происходит что-то не просто неправильное, а больше похожее на чье-то сознательное издевательство над моими чувствами.

- Ах, я ведь ничего толком не объяснил вам! Понимаете, когда приходится просить – я всегда пугаюсь. Конечно, я должен был рассказать с самого начала... Дело в том, что Варя буквально недавно перенесла тяжелую радикальную операцию. Онкологическую... Потом химии два курса, и скоро опять предстоит, да... И только ей начали делать этот укол в десну – она потеряла сознание. А когда потом объяснила врачу, в чем дело, он сказал, что в ее состоянии такие уколы противопоказаны – словом, просто отделался от нее, да... А ведь зуб-то как болел, так и болит, вот я и подумал... Мне говорили, у вас подруга – вот я и решился... Может быть, она отнесется как-нибудь неказенно, если по вашей протекции? Вы простите мою назойливость, но я другого выхода уже просто не вижу, да...

Пока я все это выслушивала, глаза налились тяжелыми, щипучими слезами... Я так ждала, я так втайне надеюсь, и вот дождалась, пожалуйста, поздравляю!

«Господи! Сейчас все равно придется отвечать – не трубку же вешать – и он услышит, что голос у меня дрожит, и слезы в нем звенят... Что подумает?!». Первым порывом было – отказать, никогда больше не слышать, не видеть – все равно ведь выкрутятся они как-нибудь, не в лесу живем... Но... Нет, это не человеколюбие победило, плевать мне было на его бедную Варю, – просто я вдруг поняла, что должна взглянуть на него, говорить, сделать его себе обязанным...

- Да-да, конечно, – обуздав себя и подпустив вежливого равнодушия в голос, отвечала я как ни в чем не бывало. – Я сейчас позвоню ей, она, должно быть, уже дома. Вас не затруднит перезвонить мне через четверть часа? Только я сразу хочу предупредить, что, хотя это и много дешевле, чем в супер клинике, но все-таки не бесплатно...

- Что вы, что вы, уж совсем на халяву я и рассчитывать не мог! – успокоил Илья.

Когда он положил трубку, я сползла на пол, впервые поняв на практике, что значит «подкосились ноги». Потом начала лихорадочно названивать Ритке, испугавшись вдруг, что Илья передумает, если я слишком затяну. Подруга сразу согласилась, а потом по-деловому осведомилась:

- Их как обдирать – как липку, или по-божески?

- По-божески! – испугалась я. – Исключительно по-божески! – Это люди – мне нужные! Очень нужные люди! Пусть у них останется приятное впечатление!

- Да ладно, останется, останется, – пообещала Ритка, и, как только я положила трубку, Илья перезвонил, не дождавшись оговоренного времени – может, его Варя там на стенку лезла, кто знает...

Я предложила встретиться завтра около трех в поликлинике – Рита хотела принять их в самом начале своей вечерней смены – но Илья ответил, что они заедут за мной по пути, а если я откажусь, то повезут в принудительном порядке: «Не хватало еще вам бегать по городу, чтобы оказать любезность людям, у которых есть машина!».

...Это потом я догадалась, что в те часы сама Судьба дарила мне спасение. Задумайся я слегка над происходящим, выгляни чуть-чуть за узкие рамки эго – и стало бы ясно, что на щедрой ладони мне было протянуто противоядие от укуса ядовитого зуба самой злой гадины – преступной страсти. Я могла бы назавтра обрести двоих хороших друзей, стать доброй приятельницей одинокой, в общем-то, паре, бывать у них, общаться, и так постепенно, почти безболезненно, исцелиться от навалившейся на меня беды...

Но в безумии и ослеплении я думала в ту ночь только об одном: она скоро умрет, эта Варя. Радикальная операция с химией – это очень серьезно. И даже если она умрет не совсем скоро, то, в любом случае, для мужа она не женщина, а объект жалости. Ведь слова «перенесла радикальную операцию», в основном, означают одно из трех: лишилась всех женских органов, то есть, кастрирована; осталась одногрудой – что физическое влечение к ней практически исключает; или уж и вовсе – анус на боку, о чем и думать страшно, не то что говорить... В любом случае, как женщина Варя – кончилась. А муж ее, здоровый сорокалетний мужчина, ухаживая, быть может, за больной женой, к чему обязывают пятнадцать-двадцать лет брака, женщину найдет себе другую – и ее вполне могу стать я. О

моральной стороне вопроса я принципиально задумываться не стала, убедив себя, что два слова «я влюблена» дают мне гораздо больше прав, чем гипотетические ее «я живу с ним под одной крышей». И едва ли на час сомкнув глаза в ту ночь, в девять утра уже вскочила с постели, что в те свободные годы возможно было для меня лишь в чрезвычайных обстоятельствах.

Перетряхнув содержимое шкафа, я осталась совершенно недовольна: давно ставшая объектом анекдотов способность женщины, стоя перед битком набитым шкафом, сокрушенно воскликнуть: «Ну, совершенно нечего надеть!» сработала, наконец, и в моем случае – и с той минуты на очень, очень долгое время логика отказала у меня вовсе. Я распахнула стеклянные дверцы горки, запустила руку в традиционный тайник мещанских семейств – фарфоровую сахарницу – и вытащила оттуда пачку денег. Это были наши общие с отцом деньги, так называемые, «обеденные», так как собственную заначку я к тому времени уже благополучно истратила на художественное оформление своей несчастной любви. Рассудив, что в офицерском госпитале какими-нибудь обедами отца обеспечат, а мне обходиться не впервой, я сунула пачку в карман и помчалась в ближайший приличный магазин, где быстренько прикупила простенький, но для знатока умопомрачительный нарядик с аксессуарами и флакон несколько устаревшей «Шанели». Последнее из-за того, что в духах не разбираюсь вовсе, но про женщину, надушенную пресловутым «Номером пять» никто не посмеет сказать, что у нее дурной вкус. Все это было предназначено, главным образом, для жены – чтобы деморализовать ее, дать ей глубже прочувствовать свое роковое убожество по сравнению с шикарной, ухоженной женщиной. Придя домой, я надела четыре золотых перстня, толстую цепочку с кулоном-птицей и серьги с бриллиантами – содержимое бабушкиной шкатулки, плавно перешедшее в мои руки после ее смерти. На самом деле, только родственники считали, что такова моя часть наследства: отец в приказном порядке запретил мне прикасаться к драгоценностям его матери, мотивировав свой запрет неоспоримым: «Рылом не вышла». Его обида шла оттого, что он хотел видеть меня обладательницей технической профессии – коль скоро родилась я не мальчиком и загону пинками в военное училище не подлежала – то хоть инженера военного из меня сделать, что ли... При этом он упорно не желал принимать в расчет мою полную, доходящую до дебильности, неспособность к каким-либо точным наукам, и игнорировал рисовальный талант, считая все гуманитарное баловством и тунеядством. Когда же я ослушалась, изъявив твердую решимость стать художником – то вместе с родительским благоволением лишилась и изрядной доли материальных благ, включая и побрякушки, меня, собственно, до того дня и не занимавшие. Отец их не прятал, зная, что надеть все равно не посмею, даже если захочу. Но, захотев в тот день, я – посмела и, за десять минут до того, как мне надлежало спуститься вниз, к машине, встала перед зеркалом во всем своем новом великолепии... Я ожидала, что сразу увижу, прежде всего, свой новый туалет, но непроизвольно столкнулась сама с собой взглядом – и отшатнулась. На меня смотрела стерва. Законченная дрянь в тонком, жемчужного цвета свитерке, ненавязчивой, но состояньице стоившей юбке по колению и утягивающих до стройности гладких черных колготках; в туфлях с пряжками, на шпильке... С горестным еще, но уже предвкушающим победу взглядом. Я знала, знала, знала все наперед в тот день! Кроме одного. Мне очень по сердцу пришлось Варя.

Эта женщина, с видом подбитого зверка почти свернувшаяся в углу на заднем сиденье, была худа не модной, а некрасивой болезненной худобой. На тоненьком безымянном пальчике правой руки почти у сустава болталось обручальное кольцо, носимое, очевидно, из принципа, из желания поминутно напоминать себе и всем: «Я замужем, замужем, несмотря ни на что – замужем, слышите?!». Слишком блестели волос к волосу уложенные вороньи волосы, и мне, только вчера узнавшей про курс «химии» стало ясно, что это – парик, а свои – выпали, она лысая, совсем, совсем лысая! Варя была аккуратно, умело покрашена, но о многом говорившая желтизна упорно просвечивала сквозь косметику, а еще... Хотя и оказались наши духи одинаковыми и, своими

переборщив по неопытности, я вмиг задурманила весь воздух в салоне, – даже они не спасли от предательской струйки, пробившейся сквозь тонкий аромат, – и я поняла, что на Варю обрушился самый страшный удар, третий кошмарный вариант, и где-то там, под ее свободным розовым блузоном, на липучках приклеено то, что даже представить ужасно, но что имеет конкретное название: калоприемник. А ей лет тридцать пять. Боже.

Но ни тяжкое гнусное горе, ни уродство болезни не смогло погасить сияющее-лунный взгляд светлых-светлых, прозрачно-голубых глаз, вдруг доверчиво глянувших мне в душу из полумрака.

- Серафима, – насколько могла приветливо, представилась я.

- Варя, – не потратившись на грозную «Варвару» просто ответила женщина, и сердце у меня екнуло: передо мной, поняла я, тот самый единственный тип человека, перед которым я безоружна.

Эти хрупкие, ласковые и простые женщины с железобетонной волей – те именно, из которых выковывались на заре христианства в застенках и на аренах непобедимые великомученицы... Я поняла, что погибла: ведь я намеревалась предать ее и была тверда в этом своем намерении, а поскольку предать такого человека может лишь законченный негодяй, то, стало быть, пришла пора перестать строить иллюзии положительности относительно собственной персоны.

«Какая же я скотина, оказывается!» – это была с моей стороны холодная констатация факта – и только.

Еще страшнее показалось то, что Варя за те полчаса, что мы ехали с ней бок о бок на заднем сиденье, тоже начала симпатизировать мне, найдя исключительно приятным и обаятельным человеком, – о чем, с прямотой, свойственной людям, потерявшим все, кроме самих себя, мне и поведала. Люди, имеющие многое, но себя так и не обретшие, обычно таких признаний пугаются – но меня в тот день мало чем можно было испугать; я бессознательно действовала под лозунгом «Пусть мне будет хуже!».

Свою подлость я провернула быстро и артистично. Сдав с рук на руки Рите предварительно обласканную Варю и получив Ритин приказ забрать ее через полтора часа, мы с Ильей пошли прогуляться вокруг поликлиники. Сидели под зацветающей сиренью на скамейке, неторопливо шли по гравиевой дорожке, съели наскоро по мороженому в детской песочнице... Мне было около тридцати тогда, из них почти половину я провела в специфическом обществе художественной богемы – и уж конечно, набралась опыта и навыка соблазнения мужчины, принадлежащего примерно к тому же кругу... Тут и слов особенных не требуется – а лишь достаточно стандартного набора взглядов, движений, улыбок, почти автоматически применяемых, и никогда, даже с импотентом не дающего осечек... И к тому времени, как мы вернулись в прохладный темноватый коридор поликлиники, чтобы забрать довольную, вылеченную Варю, закончившую на наших глазах благодарить Риту и сразу перенесшую нежную признательность на меня, у нас с Ильей уже было назначено первое псевдо невинное свидание – якобы, идти в тот же вечер в чью-то галерею смотреть ужасно интересные картины его друзей.

До галереи мы ни в тот вечер, ни в какой другой так и не дошли. Про меня и говорить нечего, а уж мужчина, хорошенько плотски заведенный еще с трех часов дня, в шесть вечера про всякие там картины и думать забыл. Мы увидели друг друга издалека – он стоял у оговоренной башни на углу Вознесенского и Фонтанки – и я инстинктивно рванулась бегом, лишь через несколько метров поняв, что и он давно бежит тоже. Мы встретились, вернее, сшиблись, как раз на середине моста, и я классически повисла у него на шее, подогнув ноги, уже зная, что все позволено.

...На долгие часы, дни, месяцы мы оказались выброшенными из окружающего враждебного мира, нежданно-негаданно попав в зазеркальный мир запретной любви.

Задумывается ли, глядя в зеркало, человек, что, в сущности, он видит себя, вывернутым наизнанку? Наше лицо в этом обманном стекле выглядит почти таким же, как в действительности, но случись вдруг кому-то из знакомых повстречать нас в зеркальном

обличье – и он подумал бы, наверное, что встретил нашего близнеца – брата или сестру. Так и мы с Ильей, очертя голову бросившись в преступные чувства, нашли там все похожим, почти до точности подобным настоящему, светлому – но ощущение всего лишь похожести ни на миг не покинуло нас обоих... Забыть об этом, притвориться хотя бы друг перед другом (раз обмануть себя не осталось уж совсем никакой возможности), что мы бродим, обнявшись, по золотой долине истинной любви, обещающей одни лишь радости, – не суждено было ни разу.

Страсть, разумеется, бросала нас друг к другу в любых более или менее подходящих местах – то в мастерской у знакомых, то в чьей-нибудь на час пустой квартире, то, когда семимильными шагами приступил июль, друг влюбленных, – прямо в лесу среди желтых цветов или на взморье меж огромных гранитных глыб... Мы строили, конечно, в минуты отдыха обязательные планы на будущее, без которых наша любовь – а мы именно так вскоре начали называть свои отношения – неминуемо выглядела бы пошлой связью женатого мужчины с незамужней женщиной, в отличие от жены – здоровой, да и моложе ее лет на пять...

Но потому и не могли мы освоиться в нашем зазеркалье, что женщина та – мужественная, больная, несгибаемая – незримо присутствовала при каждом нашем поцелуе; невидимо, но почти осязаемо, словно лишь на шаг приотстав, шла за нами, обнявшись, по каштановой аллее пыльного бульвара... Я знала, что ей обещана минимум пятилетняя ремиссия, а возможно – и полное выздоровление: варварская операция сделана была вовремя. Ведь живут же десятилетиями и куда хуже покромсанные люди, становясь невольными палачами родных и близких! И когда мы, гуляя далеко за городом, набредали на старую дачу, опоясанную верандой, с башенкой неизвестного назначения и надписью на калитке «Продается», и начинали чуть ли не всерьез обсуждать, как мы ее уже завтра купим, как будем сидеть на закате – «Вон видишь, там, за кустами, беседка, кажется?» – мы оба знали, что все это возможно только в одном случае: если Варя умрет. Причем, достаточно скоро, потому что даже минимальные отпущенные ей пять лет нам по улицам и чужим мастерским не проваландаться, а снять себе квартиру для встреч... Да мы всего лишь бедные художники без гарантированного заработка! Кроме того, о таком нашем маневре обязательно узнают и – донесут.

- Кстати, что сделает... она... если узнает? – отважилась я однажды спросить.

Ответ Ильи был неожиданным и страшным:

- Подаст на развод в тот же день.

Озадаченная, я рассказала об этом Рите, и прекрасно помню реакцию благонравной подруги:

- Так чего ты тогда сидишь-то клушей! Устрой, чтобы какой-нибудь доброжелатель открыл ей глаза! А то мыкаетесь чуть не по чердакам неприкаянные... Детей нет у них, а насчет своей болезни она и сама должна понимать... Или думаешь – Илька на тебе не женится?

Ах, как соблазнительно выглядело это черное дело еще до разговора с Ритой! И не боялась я, что не женится: на том этапе, когда он, как говорят «надышаться не мог», – женился бы, не сомневалась. Как не сомневалась и в том, что Варя действительно, бесповоротно и без слова упрека покинула бы Илью, если б узнала... Сколько бессонных ночей я промаялась, вертясь в горячей одинокой постели до тех пор, пока не начинал светлеть потолок, пока вдруг дружно не потухали уличные фонари, знаменуя приход очередного утра... Если б она, Варя, была, как та, другая, оперная певица, помнится, жена одного скульптора, в которого я аж целый месяц была жарко влюблена! Ах, какие выражения услышала я тогда из деликатных уст дивы – любой зек на десятом году отсидки обзавидовался бы разнообразию и оригинальности лексикона! А как она выломала в одиночку толстую дверь мастерской – за четыре часа равномерного и упорного в нее биения! Я не раздумывала бы, окажись Варя чем-то подобным, но теперь – не могла, чувствуя, что, сделав это, безвозвратно перешагну некий рубеж, после которого считаться

порядочным человеком не смогу никогда. Знал это и Илья. Оттого постепенно обреченностью наполнялись наши встречи; поначалу мы искусственно, натужно пытались подогреть в себе стремительно остывавший оптимизм – но как-то разом оставили все попытки, прекратив притворяться, что верим в общее счастливое будущее... А когда вдруг обнаружили себя в черноте и тоске очередного бесснежного влажного ноября, то каждый про себя, так и не признавшись друг-другу, поняли, что любовь, заведомо не имеющая будущего, – обречена. И самое подходящее место и время – это кануть ей в одну из этих самых безрадостных в году ночей...

И я приняла решение. Вернее, оно нашло меня само, когда однажды вечером отец между делом сообщил, что назавтра уезжает в Выборг к давно не виденному товарищу – ну, они, конечно, «загудят», так что вернется он лишь послезавтра, да и то к вечеру... На одну ночь квартире предстояло принадлежать мне, а дни, как я быстро рассчитала в уме, приблизились самые «опасные»... И если я ничего не предприму, как обычно скрупулезно и тщательно предпринимала, то у меня довольно много шансов через девять месяцев, давно к тому времени лишившись Ильки большого, иметь на руках Ильку маленького – и его-то уж никакая Варя от меня не отнимет... Но, конечно, я дам ребенку другое имя: сыну зваться в честь отца, говорят, плохая примета... И еще одну вещь я вдруг остро прочувствовала – и заныло сердце: ведь мы с Ильей ни разу не спали вместе ночь. Вот просто так – не спали. Пусть она будет первая и единственная, но она будет, и Варя переживет...

Сначала он отказывался: к тому времени мы не были близки уже недели три, и успели вполне отвыкнуть от ласк, почти смирившись с тем, что постепенно теряем друг друга. Но когда я намекнула, что это будет наша своего рода «лебединая песня», то он согласился почти радостно, и в мое сердце вошло новое тихое счастье вперемешку с романтической грустью. В тот вечер, помню, случайно взяла я в руки тонкую белую книжку неизвестной поэтессы, купленную кем-то из знакомых прямо у нее самой, на Невском несколько лет назад – и подаренную мне, потому что «про любовь». Я открыла, смутно что-то загадав – и меня поразило в самое сердце: «Спросят меня – не отвечу./Глянут – не брошу взгляд:/Я для последней встречи/Выбираю наряд./А и толкнут – не замечу./Ой, кружись, голова!/Я для последней встречи /Выбираю слова...»¹.

Залившись слезами, я выронила книжку на пол, не дочитав стихотворения, и понимала уже – как это глупо, ненужно, пошло: прямо сейчас может придти Илья, я должна дожарить проклятую курицу с чесноком, и не с опухшими глазами предстать перед ним, заранее испортив нам обоим настроение, а сияющей, любящей, радостной – вопреки всему! Я только успела наскоро запудрить лицо, как грянул звонок – и едва ли не руки крыльям раскинув, я отворила дверь – и увидела свою неудачницу-Риту с растрепанными волосами поверх пальто и в ботах на босу ногу. Она бормотала что-то, но в ее словах я, собственно, и не нуждалась, мне и взгляда хватило сообразить, что произошло обыденное событие: ее благоверный – парткома на него нет! – в очередной раз нажрался до буйства, а Ритка сбежала от вероятной расправы. Я никогда не могла толком уяснить себе из ее рассказов о кошмарах их семейной жизни – действительно ли так реальна была угроза: ни царапины, ни синяка я за семь лет на ней ни разу не видела. Скорей всего, супруг просто спяну куражился, хорошо помня размер и вес кулаков Ритино папани. А познакомился он с ними вплотную только за то, что посмел на заре брака назвать жену «придурковатой». Тем не менее, я всегда оставляла Риту ночевать у себя в комнате, согреваясь отрадным чувством благодетельницы. С этим расчетом подруга и примчалась ко мне – именно в ту единственную из многих сотен ночей, когда гостеприимства я ей оказать не могла. Это был один, только один раз в моей жизни – неужели он так уж непростителен?!

¹ Н. Веселова «Цветные сны», сборник стихотворений, Л., 1991

Короче, я выгнала ее. Воспоминание об этом долго было почти самым неприятным в моей жизни – не тварь же я бессовестная – то есть, не совсем же...

И в конечном итоге – я оказалась права: ничего ведь не случилось с ней в ту ночь! А я зато, как и надеялась, уже через две недели узнала, что у меня родится ребенок, обязательно мальчик. И потому, даже не смотря на то, что с тех пор прошло уже семь лет, а я ни разу за это время не видела Илью – хотя слышала иногда отголоски глухой молвы, краткие и недостоверные слухи о нем, но даже голоса не донес ни ветер, ни телефонный провод – все равно с того вечера жизнь перестала походить на бездонный колодец.

На самом деле, по-настоящему ужасными оказались только первые три месяца со дня последней знаменательной встречи. Но неожиданное облегчение явилось в поистине провальный период, когда я, мечась в четырех стенах своей запертой комнаты, в тысячный раз пережевывала мысленно один из счастливейших эпизодов нашей короткой любви и одновременно прикидывала, как сообщить отцу о наметившемся внуке. А родитель между тем неистово бился в дверь, стремясь, наконец, донести до меня неоспоримые обвинения в никчемности. Меня отчего-то особенно терзала наша с Ильей трепетно счастливая прогулка по осеннему Пушкину, терзала нестерпимыми воспоминаниями о том, что в тот день мы в последний раз были истинно близки душевно, доходя даже до родственности; он стал достигнутым Эверестом нашей любви – но с вершины, если нет способа взлететь, возможен только спуск. Из всех утраченных навеки дней, по тому, мрачно-золотому под тяжелым стальным небом я тосковала особо болезненно. И в один отчаянно бело-синий январский день сидела по-турецки на полу среди раскиданных собственных акварелей и общих фотографий до глупости счастливых людей, держащихся за руки около заранее оплакивающей их любовь черной девы... Беснование отца под дверью, подогреваемое моим равнодушным молчанием (уши я заткнула наушниками с Морриконе) было прервано телефонным звонком. Оказалось, добивался меня по пустячному, с эротикой никак не связанному дельцу любовник настолько давний, что его уже вполне можно было считать старым и не особенно добрым знакомым. Но в тот день, озаренная странной мистической вспышкой, я уцепилась за него, как за соломинку. Мне показалось вдруг, что навязчивая попытка воспоминаний оставит меня, если я совершу некий ряд действий, которые теперь не могу назвать иначе, чем ритуальными. Я решила рука об руку с этим внезапно явившимся псевдо близким человеком затоптать наши с Ильей следы. Пройти по тем же заповедным местам в Пушкине и Петербурге, по тем же мастерским и редким комнатам в кемпингах – и так оплевать, осквернить все то, что было дорого, искоренив тем самым успевшие войти в кровь и плоть понятия «наш», «наше», «наши»...

И я это сделала – на третьем месяце беременности. Не знаю, может быть, яд, постепенно утекавший из моей души, перетек в душу ребенка, которого я носила, а вовсе не ушел в неведомое пространство – но мне стало легче... Ведь это уже не «наш» Александровский дворец, где мы были одинаково потрясены рассказом экскурсовода про Царя Николая Второго и Царскую Семью, не «наша» плакальщица, у чьих ног я цитировала Илье стихи, которые читает там своему возлюбленному каждая вторая грамотная женщина; не «наши» аллеи во дворе Сельскохозяйственной Академии, уводившие, бывало, нас в глухие заросли под облупившейся стеной, в место, словно специально предназначенное для сокровенных поцелуев... Я развенчала, опозорила, сделала все интимное «наше» – чужим, посторонним достоянием – с помощью человека, ничего не подозревавшего, и не мыслившего, что служит проводником неосознанного колдовского действия. Я не призывала на помощь ни Бога с Его Святыми и Ангелами, ни противоположные начала и власти, но не сомневаюсь, что нечто иномирное было мною невольно задействовано, неизвестный обряд выполнен – и горечь, в первые дни обострившись, будто в агонии, потом безвозвратно покинула мое сердце, пусть и буквально изорванным – но навсегда. Осталась, тоже навсегда, лишь любовь – но настоящая любовь не приносит боли – и тихое, настороженное ожидание чада...

Кроме того, всегда грело чувство, что мы с любимым поступили единственно правильно, не добив морально незащищенного больного человека, – и рождение сына я восприняла еще и как заслуженную награду за то, что поборол в себе низменное, звериное начало хищника...

* * *

Только оказавшись дома, сбросив плащ и привычно сунув ноги в шлепанцы, я вдруг почувствовала, как за пределами устала сегодня. От стресса всегда устаешь больше, чем от самой напряженной физической работы. «Сначала посижу немного в кресле – а ванна, ужин – все потом...» – решила я, валясь в объятья отцовского кожаного монстра, где мне иногда, в добрую минутку, разрешалось понежиться...

Что произошло потом? Я не заснула, это называется иначе – может, так: временно умерла? Состояние было хотя и глубже, свинцовое самого крепкого сна – но не в полную беспробудность я провалилась: я видела, чувствовала, сопереживала...

Глава 3 Око за око

*...и ждах соскорбящего, и не бе, и
утешающих, и не обретох.*

Пс.68, ст.21

Я стояла в галдящей толпе на улице грязного городка, и очень хорошо понимала, что нахожусь не в России. Люди вокруг меня выглядели размыто – в смысле внешнего вида и направленности движений – но настроение толпы я угадывала безошибочно, и это была растерянность. Язык людей звучал абракадаброй, ни единого слова не могла бы я осмысленно повторить, но, тем не менее, откуда-то знала, что он – кто этот он, было неясно – велел всем нам не расходиться, пока он не появится. Впереди угловато громоздилось здание, напоминавшее, да, верно, и бывшее небольшой церковью, но из непонятного лопотанья народа я вдруг уяснила себе, что это нелепое сооружение они называют собором. «Такое бывает только во сне!» – догадалась я – и совершенно правильно. Впервые со мной происходило такое, чтобы я осознавала, что сплю, а значит – лишена страха, неловкости, недопониманий, и могу, при желании, превратиться из зрителя в режиссера. «Ну, и куда занесло меня в этом сне?» – силилась я понять, и сразу рядом, а может, для удобства, и прямо во мне, прозвучало: «В Ассизу». Это слово, знала я, было для меня чем-то громадным, невероятно значимым, я чувствовала, что получила ценнейший подарок – но почему-то не рождалось никаких конкретных ассоциаций. И вот, зная, что сплю, я мучительно тянулась к ним – в явь, как утопающий тянется из-под зеленой воды к высокому желтому свету...

А тем временем на ступенях карикатурного «собора» возник человек – и толпа не то возмущенно, не то скорбно возопила. Человек был полунаг – изможденной и нечистой наготою, выглядевшей настолько неприятно, что даже трудно было сочувствовать очевидному его страданию. Другой человек, в грубом коричневом рубище до пят, тащил полуголого страдальца за шею на веревке – правда, при этом отчего-то сам проливал нечеловечески огромные мутные слезы... Выволок на ступени – и замерли оба. Влекомый заговорил – слабым большим голосом, но такова, верно, была власть этого голоса, что каждое слово (а для меня – лишь непонятный, но певуче красивый звук чужого языка) отчетливо и значительно отпечаталось над притихшей толпой. Но мой невидимый услужливый толмач, окопавшийся, верно, у меня в голове, угодливо перевел: «Вы, и все, кто по моему примеру покинул мир и ведет образ жизни братьев, считаете меня святым

человеком, но перед Господом и вами я каюсь, что во время этой моей болезни я ел мясо и варенный на мясе навар». Я не успела подивиться нелепости речи и, сугубо, – непропорциональной суровости наказания, исполняемого, вдобавок, неуместно рыдающим палачом, как несчастного повлекли на веревке дальше сквозь толпу, мимо меня, и я увидела размазанную грязь на когда-то изысканно благородном лице, услышала, как бренчит цепь – и вокруг меня начал меркнуть ослепительный солнечный свет – а вместо него проявились, как на фотобумаге, очертания отцовской комнаты, где я пробуждалась в огромном кожаном кресле от глубокого тяжкого сна... Я все-таки вынырнула в явь, вынырнула и, конечно, поняла: мне приснилась сцена покаяния Франциска Ассизского – да полноте, приснилась ли? Не была ли я каким-то чудом перенесена туда, на подлинное место действия, не стала ли настоящим свидетелем удивительнейшего события, когда ни в чем не повинный человек велел тащить себя, как барана, на веревке сквозь толпу?! Только ведь это действительно была веревка, не цепь, – тогда откуда же зловещий металлический звук, до сих пор слабо доносящийся из навеки ускользнувшего сна?

Еще, неверное, с минуту, в состоянии мутного блаженства, я пыталась ловить отголоски моего видения, пока вдруг резко не выпрямилась, насколько это возможно было сделать, будучи утопленной в древнем кресле-капкане. Слава Богу, на меня не обухом обрушилась, а постепенно дошла истина – иначе, пожалуй, мои приключения на том и закончились бы. Правда с трудом поместилась в голове: никакой цепи на шее у Франциска действительно не было. Все правильно, он велел тащить себя на веревке, веревку я и видела. А металлическое бряканье, слышное и теперь, когда я полностью очнулась, – это... Это ни что иное, как попытка открыть входную дверь моей квартиры. Кто-то стоит там, на лестничной площадке, и методично ковыряется в замочной скважине.

Опять, как и минувшим вечером, когда балансировала на краю платформы перед несущимся поездом, я досконально и очень рационально разложила по полочкам происходящее – за секунды: значит, убить все-таки хотят не Марьяну, а именно меня, раз пришли ночью ко мне домой; замки на наружной двери вскроют минуты, максимум, через три – и стоит также включить в это время возню с защелкой; тратить время на отпирание внутренней двери никакой дурак не станет, ее вышибут ногой в один прием... Выход у меня один – в окно, но поскольку этаж – шестой, то с тем же успехом я могу остаться и в квартире: возможно, убийца приготовил мне смерть менее мучительную, чем разбиться о свежий черный асфальт. На этот раз я не удивилась тому, что прокрутила все так быстро – опыт уж имелся – но вдруг обнаружила себя на балконе! Я и раньше свято верила в таинственные резервные силы организма, но, как водится, и в мыслях не могла применить ничего подобного к своему неспортивному телу. Главная радость данных ситуаций заключается в том, что мудрая природа, хотя и не отшибает человеку способность регистрировать свои действия, но полностью отнимает возможность оценки – потому что оценив их адекватно, выполнить становится уже невыполнимо...

Я хорошо помню, что именно я сделала. Сообразив, что квартира, которой принадлежит соседняя лоджия, находится не в нашем подъезде, я перегнулась через бетонную перегородку и заглянула туда. Белая ночь услужливо показала мне свалку разнородных предметов, устроенную моими неизвестными соседями в лоджии, и отсутствие чего бы то ни было, за что можно ухватиться. Смущаться этим обстоятельством у меня совершенно не было времени – и я ступила левой ногой на старую гнилую тумбочку, которую мой умник-папа когда-то запретил выбрасывать, а левой рукой уцепилась за бельевую веревку, тем же папочкой надежно натянутую, потом развернулась спиной к зияющей пропасти двора и перекинула правую ногу через соседскую перегородку. Нога повисла над неизвестностью, но громкий удар со стороны моей квартиры, означавший, что на спасение осталось не более пяти секунд, – пока тот разбежится еще раз – заставил меня очертя голову перебросить вслед за ногой и тело, оторвавшись от спасительной веревки... Мысль, мелькнувшую на лету, тоже хорошо помню: если сейчас разобьюсь об их хлам так, что не смогу подняться, то буду кричать и

звать, кричать и звать! Интересно, как бы это у меня получилось... Я не покалечилось непоправимо, а вот больно ли ударилась, рухнув на грудь твердого скарба, не имею понятия: способность чувствовать боль в таких случаях, оказывается, тоже отбирается. Поэтому я сразу вскочила, намереваясь ломиться, а если надо, то и разбить балконную дверь, но этого не потребовалось: она оказалась беспечно отворенной. Я бросилась в комнату, пытаясь подготовиться морально к неминуемой встрече с изумленными хозяевами, но обнаружила, что комната пуста. Ничто не шевелилось в квартире – после такого-то грохота! – и мне сразу стало ясно, что владельцы квартиры отсутствуют, тщательно заперев двери и ошибочно понадеявшись, что обеспечили таким образом неприступность своего жилища на шестом этаже... Я попала бы в ловушку, окажись замки не приспособленными для открывания изнутри! Но нет, их было всего два, и оба сделаны по-старому бесхитростно, словно время для хозяев остановилось, и они по-прежнему благополучно пребывали в безопасных семидесятых прошлого столетия. Единственную их дверь я им милостиво захлопнула, чтоб квартиру не обнесли, только вот сделал ли это спустя пару минут мой убийца, я так и не знаю. Ждать лифт было бы опасно, но мне это и в голову не пришло: инстинкт ухода от погони гнал меня вниз, вниз – до тех пор, пока в лицо не ударила прохладная волна душистого ночного воздуха, осенив меня внезапным пониманием: я только что опять ловко сбежала от смерти.

* * *

Давно уж была, наверное, дома отправленная мной прочь Сима, а я все не ложилась. Тянуло, не отпускало странное, почти физически мучительное чувство неразрешенности, душевной фрустрации. Я думала о ней, вспоминала о той страшной ноябрьской ночи, в которую она бестрепетно выставила меня семь лет назад. Если кто-то и правит твердой рукой мою жизнь – а это делает Он, Творец, я знаю, иначе не псалмы бы я тогда у залива распевала, а «В лесу родилась елочка», то ночь та была задумана мне для переосмысления жизни, вернее, для перемены отношения к ней... Но произошел какой-то сбой, я не так поняла Бога: вместо того, чтобы перемениться самой в тех же обстоятельствах, я круто изменила саму жизнь – а ведь это не одно и то же. Теперь, через годы, я начала смутно понимать, что, резко повернув в лучшую сторону внешне, я утратила навек громадную возможность внутреннего совершенства; спустившись с доступной мне вершины духа, никак не приняла во внимание тот факт, что побывала на ней – и пошла прежней дорогой плоти. Все семь лет я благополучно убеждала – и убедила – себя, что та ночь была мне послана, чтобы я смогла отыскать в себе силы уйти от пьяницы-изверга мужа, начать самостоятельную жизнь и дать ее другому существу – моему ребенку; и все это я выполнила... И вот, пожалуйста, в голову полезли мысли настолько странные, что голову вдруг сжало словно мягкими сильными лапами – и жутко захотелось курить, хотя я бросила лишь только забеременела, и с тех пор не брала в руки сигарет.

С чего начались эти мысли? Какой был им толчок? Может, захлопнув за Симой дверь и подумав с сожалением «Слабовата месть получилась!» – я запустила у себя в мозгах процесс самокопания? Конечно, когда она не пустила меня на порог, потому что намеревалась делать ребенка, я стояла над бездной отчаянья. А она, мною же успокоенная, – действительно, кому она нужна, чтоб киллер за ней по городу бегал, смех один! – отправилась к себе домой, в благоустроенную квартиру, а не на жуткий берег залива, где черная вода ночь напролет шуршала по холодному песку у моих ног... Далее я додумалась вот до чего: вовсе и не хотел Создатель, чтоб я меняла жизнь, а учил меня примириться с той, которая у меня уже имелась. Не покидать мужа, сгинувшего после моего ухода в неизвестности, а полюбить его таким, какой он был, изменив тем самым себя. А уж его попробовать изменить – своей любовью. И еще поняла я, что если человек тот теперь обречен на вечную погибель, то и я обречена вместе с ним, потому что толкнула стоявшего над пропастью... Нет, нет, положительно – считать, что такая казуистика может оказаться правдой – значит обречь себя на новые бессмысленные страдания – и себя, и мужа, и

ребенка... Ничего ведь не воротишь! А если б и можно было – разве способна я на такой подвиг?! Я разволновалась, заметалась, чувствуя мерзкий холодный пот на лбу – и как раз в ту секунду, когда я холодной же рукой отирала его, три длинных трескучих звонка, как три ядовитые стрелы, вонзились мне в сердце.

Страшные ночные звонки. Я никогда не разучусь их бояться, потому что так именно семь лет назад звонил бывший муж, возвращаясь ночью домой, чтобы истязать меня... В ту далекую ночь Бог хотел сделать меня хорошей. У Него не получилось – я осталась дурной, я дурная и сейчас, и такой, наверное, умру. Зачем, чтобы сделать человека хорошим, обязательно измучить его?

На этот раз она действительно не походила на саму себя. Уже без чужого лосиного плаща, но так и не переодевшаяся, все в той же черной юбке и ажурной розовой кофточке; на голых ногах нелепые тапки – леопардовой расцветки и с пушистыми помпонами. Почти черные волосы – подумать только, я помню ее еще пепельно-русой! – всклокочены и на макушке стоят смешным ежиком. Челюсть трясется, губы прыгают, на правой щеке длинная ссадина. Безобразная челка падает на глаза – но даже это не может скрыть испуга и ужаса – в странной совокупности с удивлением и протестом. Такой запечатлел ее мой взгляд в памяти – и надеюсь, я больше не увижу ее никогда. Именно в тот миг я поняла: с освобождением от нее связано и мое личное освобождение – как же я за семь лет об этом не догадалась! Я даже не сразу поняла, что она говорит – неправдоподобно страшные вещи, в которые не хотелось даже вникать – но особое внутреннее чутье подсказало мне, что ничто, касающееся ее, не должно касаться меня.

И тогда мы вновь в подробностях повторили тот семилетней давности танец в дверях, только уже не она, а я исподволь выдавливала, вытесняла ее из прихожей за порог – не касаясь ни рукой, ни коленом – а она отступала, так же, как и я в ту ночь, ужасаясь и недоумевая уже от моих безжалостных слов:

- Все-таки тебя? За тобой? Тогда тебе нужно не ко мне, а в милицию... Нет, если ты останешься здесь, то в опасности окажемся мы обе... Извини, не пойду с тобой... Если б не было семьи – пошла бы... Если за тобой следят, то и здесь найдут. Свидетели никому не нужны, поэтому... Словом, оставлять своего сына сиротой в мои планы сегодня не входит... – и там, за захлопнутой мною дверью, уже Сима летела в свою настоящую бездну – я от души пожелала, чтобы пребывание там пошло ей впрок. В отличие от меня.

* * *

Ну-с, и как прикажете сообщать женщине, то она тебя больше не интересуется? Была влюбленность, во что-то серьезное не переросла – так пора и честь знать. Хорошо было? Было. Доставили друг другу какое ни есть удовольствие – и хватит изображать светлые чувства. Всегда рассуждал я примерно так и ни разу не просчитался. Иногда даже жаль, что как только дело идет к концу связи, так даже самые лучшие из женщин становятся похожи на всех остальных – не лучших, имею я в виду. И начинается: звонки истерические в два часа ночи – а я ведь врач, между прочим, мне в семь вставать, а в десять оперировать! – объяснения в одних и тех же выражениях, будто все они одну и ту же мыльную оперу выучили наизусть: «Ах, Серж, ты меня что, больше не любишь? Нет, ну ты скажи... Лучше самая горькая правда, чем сладкая ложь... Тогда почему ты... И почему ты...».

Тьфу ты, как противно... Почему все обязательно надо портить, не могу понять. Порой просто хочется встать, повернуться и уйти – в лучшем случае, молча. Но ведь я же интеллигент долбанный, и вместо того, чтобы взять даму за шиворот, вышвырнуть за дверь – и манатки следом, со словами: «До чертиков ты мне надоела!», как столетиями поступают некомплексующие мужики, я в сотый раз перед сотой дурой юлю глазами и лепечу что-то о пошатнувшемся здоровье и вдруг навалившейся колоссальной занятости. Ну, устроен я так, что не могу объявить надоевшей женщине прямо, что она мне больше не нужна, и глаза бы мои ее не видели. Поэтому приходится избирать тактику избегания:

самому не звонить, на звонки не отвечать, а если додумается подкарауливать у больницы или дома, то отделиваться неопределенными фразами. Обычно так само и сходит на нет, особенно если пару раз встретит с другой женщиной.

Выходили, правда, казусы – нечасто, но выходили. Однажды папаша продвинутой студентки, всерьез полагававший, что я «совратил» его голубку-дочку, явился ко мне домой с категорическим требованием жениться. Почти сутки я втолковывал старому простофиле, что его голубка не только перебрала весь свой факультет, но еще и подарила мне на прощанье страшного зверя. Трихомонадой называется. Я вовремя не заметил – так он у меня там расплодился и аж до самой середки долез – еле извел проклятого... К концу суток, перегруженный подробностями моей с его дочуркой любви, родитель поверил и отправился разбираться уже с ней: надеюсь, до смерти не забил, но с той стороны меня больше не беспокоили. Другая дама – в летах, четвертый десяток разменяла, могла б уж и научиться жизни! – с чего-то вены себе резать надумала. В моей ванной. Когда ее откачали, искренне изумленный, я поинтересовался – зачем она это сделала. Оказалось, за пятнадцать лет семейной жизни она впервые изменила мужу и – о, чудо! – именно со мной узнала известные впечатления, про которые мама всю жизнь внушала ей, что «для порядочной женщины и думать о таком – стыд и срам». Ну, Мопассан в чистом виде, честное слово! Еще одна – доктор наук женщина с принципами и амбициями, оказалась способной в лютые тридцатиградусные морозы – а такие простояли в тот год до весны – неподвижно ночи напролет торчать перед моим домом во дворе, преданно глядя на окно моей спальни. Заметив меня, она неумело пряталась за помойный бак, но двор наш освещен на удивление хорошо, и я отчетливо наблюдал все ее неуклюжие телодвижения. Наконец, она пропала. Надеюсь только, что ее не в сугроб замело...

К тому времени в моей жизни появилась Сима, и уже весной я впервые начал изредка допускать себя до мысли, что, может быть, это и есть та самая женщина, с которой... Но, увы, я опять ошибся. Это была первая женщина, заставившая серьезно добиваться ее – уже одно это само по себе расположило меня к Симе изначально иначе, чем к другим. Обычно ведь как все происходило? Я вдруг обращал внимание, что женщина по-особому на меня посматривает, примечал необязательные знаки расположения. Далее все просто: если я находил, что романчик с ней может оказаться любопытным, то послушно давал увлечь себя в очередное приключение, а если дама уж очень не вписывалась в мои представления о том, какой может оказаться одна из моих любовниц, то я немедленно принимал вид грозный и неприступный. Ну, а коли выскочка проявляла настойчивость, то рисковала получить отпор: я мог доходчиво пошутить, а если выяснялось, что и с шутками она не дружит, то вежливо нахамить, что спасало всегда. Другое дело, что некоторых из непривлекательных мне бывало непонятно жаль, и они могли долго торчать такими занозами на гладкой поверхности моей жизни, но никогда не случилось мне случайно пострадать из-за бабы, потому что, едва выйдя из возраста подросткового онанизма, я чудным образом научился не принимать всерьез отношения с самочками, пусть даже самыми смазливыми, близко к сердцу. Я уже тогда откуда-то хорошо знал, что это – себе дороже станет. По окончании институтов моих друзей скосила повальная эпидемия свадеб, не захватившая, однако, меня. Не успел я задуматься – а не закралась ли ошибка в мои умозаключения о женской любви, – в семьях товарищей по работе и учебе как-то разом народилось новое поколение. Навестив одного, заглянув к другому, позвонив третьему, я поздравил себя с уцелением и навеки, как мне казалось, закрыл для себя этот вопрос...

Я усвоил вполне приемлемый образ жизни: живешь с нравящейся тебе на данный момент женщиной или просто более или мене часто встречаешься с ней в романтической обстановке – до тех пор, пока отношения плавно не сходят на нет. В среднем длится это месяца четыре, да плюс несколько двух-трехразовых авантюр параллельно. Правда, однажды рекорд моей совместности с женщиной достиг года – но то была вечно пропадавшая по командировкам журналистка – так что неизвестно, сколько, в конечном счете, длился наш необременительный роман... Труднее бывало, когда сожительница

переставала интересоваться меня, зашедшего на горизонте новый яркий объект, но игнорировала мои прозрачные намеки на необходимость вечной разлуки. Вот тогда-то и происходили смешные или возмутительные катаклизмы.

Но случилось раз так, что в день довольно скучного моего дежурства и в период любовного безвременья, из палаты, которую вел именно я, вышла незаметная посетительница. Я сначала и внимания не обратил – так, чернявенькая, невысокая. Не слишком фигуристая. И вообще – стриженная, а я признаю особь женской только если у нее волосы, по крайней мере, ниже лопаток. А у этой – чертополох какой-то... И свернула она не туда. Впрочем, я и думать забыл: мало ли народу плукает тут по этажам-коридорам, а то и вообще становится заложниками лифтов. Я сам, когда только в эту больницу работать пришел, тоже попадался, пока не привык. А через пять минут вышел из ординаторской – опять она, и прямо ко мне:

- Доктор, пожалуйста! Где здесь у вас выход? – голос приятный такой, и интонация не наглая.

- А вот по тому коридору до конца дойдете – там дверь. Из нее сразу направо – лифты. – Мне наплевать, собственно, было, но что-то, может быть, особая редкая интеллигентность ее тона, заставила меня добавить: – Только лифт ждать не советую: в него у нас можно только на первом этаже попасть. А на шестом – так полчаса прождете. Вы эту площадку с лифтами лучше наискосок пересеките, в другую дверь пройдите на лестницу – и вниз. Через три минуты в гардеробе будете. Только не забудьте, что он у нас на втором этаже. Не на первом. На первом – приемный покой, не перепутайте...

Сроду я так длинно с не нравящимися мне женщинами не разговаривал – разве что с больными, о тех куда денешься. А разговаривая с ней, вдруг заметил, что свитер ее голубой и глаза заставляет казаться голубоватыми, хотя они у нее самые заурядные, серые. Это я так, мимоходом зарегистрировал, а она уже ласково поблагодарила – и пошла, верней, некрасиво поковыляла: на ногах у нее, поверх сапожек, были натянуты неуклюжие синие полиэтиленовые бахилы – из тех, что продаются в гардеробе вместо сменной обуви. Я рассеянно смотрел ей вслед – и вдруг, честное слово, в сорок лет впервые в жизни подумал: жаль, не увижу ее больше. Впрочем, от этой мысли как от крайне нелепой, я сразу же отмахнулся, да и позвала меня сестра с поста. Переговорил с ней, от стола отвернулся – и сзади стояла она, незнакомка в голубом свитере и черных брючках. Стояла и смущенно улыбалась. И вот тут со мной второй раз за вечер чудное случилось: я отчетливо понял, что радуюсь.

- Доктор, я, наверное, совсем дура, – беспомощно разводя руками, сказала она.

Я заметил про себя, что так может сказать только женщина, уверенная в том, что она совсем не дура. Сомневающаяся – убоится: вдруг, собеседник в ответ кивнет: да, мол.

- Я дверь нашла, но неправильную какую-то, наверное. Там никаких лифтов не было, а стоял человек... страшный... И лестницы тоже не было. Я просто не знаю, что мне делать. Не могла бы вы еще раз объяснить? Пожалуйста!

Я мог. Но не захотел. Я сказал:

- Давайте я вас лучше провожу. А то вы опять заблудитесь.

Не знаю, что толкнуло меня на подобную галантность – возможно, наличие где-то «страшного человека», защитить от которого слабую женщину вел меня не долг, к новому веку нами, мужиками, уж вконец похеренный, а инстинкт самца, властно приказавший продемонстрировать первенство хоть в чем-нибудь. На данный момент мое превосходство было неоспоримым: я дорогу знал, а она – нет. Мы отправились в путь, и я, конечно, спросил (правда интересно было):

- А что за «страшный человек»? Из больных или посетитель?

Идя рядом, она глянула на меня – вбок и вверх – и я увидел большой светлый глаз – умный. Надо сказать, что слово такое по отношению к женщине я до того момента принципиально не применял даже мысленно. Сказать: «Она тетка нахрапистая» или «Себе

на уме баба» – это пожалуйста. А вот так, чтобы «умная, видать», да еще всерьез... Я почти испугался сам себя.

- Понимаете, он не страшный, разумеется, а... Ну, жуткий... Нет, вы не думайте, что «жуткий» – это просто сильнее, чем «страшный». Это из другой области, совсем из другой...

Клянусь, о таких тонкостях я никогда не задумывался, но тут сообразил, что в этом ее рассуждении что-то есть, и растерялся:

- А... поконкретнее...

- У него в горле дырка сделана. Прямо... – на ходу она повернулась ко мне вполоборота и сделала немислимую вещь: оттянула вниз ворот своего голубого свитера и указательным пальцем ткнула в ту самую ямочку на шее, которую еще ни один мужчина, лаская женщину, стороной не обошел. – Вот тут, – она вернула ворот на место. – И, извините, в железо оправлена. Как у тех резиновых игрушек, которые пищали. В нашем детстве – помните? Так вот, он курит, а у него оттуда, из этой дырки дым идет... А сам – желтый, лысый, худой, пижама не по росту, а руки...

- Руки?! – изумился я. – Вы сколько же на него смотрели, если даже руки запомнили?

- Да полсекунды, – пожала она плечом. – Так вот, мне всегда казалось, что у троллей такие руки. Опять же, из нашего детства книжку помните – «Норвежские сказки», там еще...

- «Вороны Ут-Реста!» – невольно подхватил я, потому что такая книжка у меня действительно в детстве была, и я ее любил. – И «Пер-Гюнт», и...

- Да, да, – «Ловля макрелей!» Знаете, доктор, я недавно так разочаровалась! Захожу в магазин, вижу рыбные консервы, импортные. И латинскими буквами написано: макрель. Я купила. А оказалась – наша скумбрия. А я-то тридцать лет считала, что макрели, которых они там ловили, – это какая-то совершенно особая рыба, которую нам и есть заказано...

- С ума сойти, я ведь точно так же... – потрясенно начал я, но был безжалостно перебит:

- А, вот они где, лифты! Значит, вон в ту дверь мне теперь? Ну, спасибо вам, доктор, извините Бога ради, что от дел оторвала! Но ведь если б не вы – хоть пропадай! – женщина улыбнулась – приветливо и благодарно, махнула рукой, как старому знакомому, – и вот, ее нет, а я остался, и дальше начались со мной совсем уж невообразимые вещи.

Я напрямик направился в палату, из которой она вышла, надеясь узнать, кого навещала, и выпытать какие ни есть подробности. Зачем – я и понятия не имел, просто ноги несли. Это позже понял: не каждая с посторонним, впервые увиденным, как с товарищем детских игр станет разговаривать. И еще – макрели... Мне тоже в детстве это слово казалось таинственным, а сама рыба – недоступным лакомством завсегдаев фьордов и, распознав в ней банальную, да еще и ненавистную скумбрию. Я был жестоко разочарован, словно кто-то силой вырвал добрый кусок из моего счастливого детства... Оказывается, и она испытала то же самое – и это неведомым образом протянуло меж нами загадочную нить. В четырехместной, целиком пока лежащей палате возле троих женщин сутились родственники, и лишь четвертая, вечно мрачная, с подходящей фамилией – Сухарева, лежала на серой подушке серым же лицом кверху, мрачно пялясь в потолок. Я ей позавчера удалил аппендикс – вполне вовремя и очень удачно – а она изображала мученицу, словно ей все кишки смотали и вытащили.

- У всех все нормально? – фальшиво поинтересовался я, на тот момент уже зная от сестры, что все в порядке.

Потом вроде как рассеянно глянул на Сухареву:

- Что, не пришел пока никто? – я усилено делал вид, что не замечаю яркого пакета на тумбочке.

- Приходили уже, – тускло буркнула больная. Не удостоив меня даже мимолетным взглядом.

- Муж, наверное? – продолжал я несвойственное мне вмешательство в личную жизнь больных.

- Подруга.

- О, быстрая у вас подруга, быстрее всех пришла! – натужно веселился я.

- И ушла.

- Ну, так опять, наверное, придет! – и оптимистично предположил: – Завтра.

- Завтра не придет.

- Ну, послезавтра! – («Ладно, сочтем это психотерапией, а то совсем уж неудобно»).

- Может.

Больше я от Сухаревой ничего не добился, зато был атакован всеми троими посетителями остальных больных – и, как мог, отбившись, выскочил из палаты...

В предсказанный день я нашел предлог с работы до поры до времени не уходить. У меня, мол, особо тяжелая полостная в сто шестнадцатой, мечтаю лично пронаблюдать. На самом деле полостная была как полостная: чем меньше смотришь, тем больше положительных эмоций. А вот в том, что мне нужно было наблюдать, я не солгал. Вот только наблюдал я за входом на отделение, причем с лестницы, чтоб никто не удивился, зачем это я мотаюсь по коридору после рабочего дня. Не думайте, до этого я уже полных двое суток обзывал себя придурком и кретином, обзывал на полном серьезе, но ничто не помогало. «В прошлый раз она пришла сразу, в пять, – маялся я. – А сейчас уже шесть, почему ее до сих пор нет?!». В половине восьмого почти успокоился, поняв, что Сухарева останется без передатки, и вернулся в отделение – повесить халат, надеть свитер и забрать сумку. Совершив все это и шагнув в коридор из ординаторской, я стал свидетелем кратковременного видения: мгновенно исчезнувшей за дверью той самой палаты женской ножки в черной брючине и ужасной синей бахиле. Дверь осталась приоткрытой и, минуя, я туда бегло глянул: она еще не села, стояла спиной, в тех же брючках, но в другом, коричневом, свитере.

Я занял позицию в гардеробе. Знал, что ждать минут двадцать, не больше, потом посетителей погонят из палат, – и бесконечно удивлялся все эти минуты творившемуся со мной. Опять пытался внушить себе: «Перестань дурить и иди домой! С ума ты, что ли, сбрендил?» – и все неотступней пялился на черную стрелку настенных часов, возмутительно редко совершавшую ленивый скачок. Я слишком увлекся стрелкой и пропустил момент, увидев женщину лишь, когда она уже резкими движениями срывала с себя бахилы. Явились остроносенькие полусапожки – и, смяв отвратительный синий комок, незнакомка швырнула его в урну. Не попала, видела это, но поленилась исправлять промах... Вот она остановилась, раскрыла сумку и, продолжая медленно двигаться в сторону гардеробщицы, усиленно ищет там... номерок, конечно? Нет, пудреницу... А номерок, оказывается, был спрятан в кармане брючек... Вот она отдает его и на минуту остается одна, стоит вполборота ко мне, в неопределенной позе не то нетерпении, не то равнодушия...

Каюсь, у меня был порыв – сбежать. Потому что только в ту минуту я сообразил, что именно делаю: намереваюсь приставать к женщине, которая абсолютно не в моем вкусе. Что не пустило меня? Я так и не смог в этом разобраться... И, вместо побега, в следующую секунду я уже стоял рядом с ней, тряс собственным номерком и небрежно, как мне казалось, констатируя:

- Что-то припозднились вы на этот раз...

Ее куртку как раз положили на барьерчик, а из моей руки изъяли номерок. Женщина обернулась, и... и я ясно увидел, что она меня не узнает! Конечно, позавчера был – «доктор». В белом халате и шапочке. А сейчас – незнакомый нахальный субъект. Этого я не предугадал, почему-то самоуверенно полагая, что она меня сразу узнает. До сих пор не могу решить – лучше или нет было мне тогда, полгода назад, молча развернуться и уйти? Что было делать? Сказать: «Я тот доктор, с которым вы позавчера говорили про

макрелей»? Более глупого положения и представить себе невозможно. Но она вдруг улыбнулась – доверчиво, ослепительно – и я вновь услышал ее незабываемый голос:

- А, так это вы тоже любите норвежские сказки?

...Мне жаль. Мне, честное слово, жаль. Может быть, причина в моей несчастной натуре, не знаю. Были дни, когда мне казалось, что раньше я неосознанно пребывал в поиске, а теперь он благополучно завершился, и рядом со мной та, единственная, не похожая ни на кого...

Сима резко отличалась от других женщин тем, что являться собственностью какого-либо самца не было смыслом ее жизни, в то время как главная особенность всего женского пола как раз и состоит в том, что без мужчины женщина как бы временно (или навсегда) прекращает существовать. То есть, она двигается, ест, спит, придумывает себе хобби или работу, чтобы объявить ее приоритетной ценностью; имеющая детей – пытается раствориться в них и так самореализоваться – но полноту бытия обретает, только когда рядом появляется мужчина. С Симой было не так: во мне она, конечно, нуждалась – ровно столько, сколько и я в ней – но могла преспокойно отказаться от свидания, потому что считала необходимым работать над картиной! Сперва я недоумевал и обижался, но потом неожиданно зауважал, признавая ее почти равной себе, а вскоре и вовсе смирился с тем, что Франциск Ассизский в Симиной жизни тоже занимает определенной место. Порой мне казалось, что Сима экстатически влюблена в этого католического святого – во всяком случае, в глазах ее загорались подозрительные огоньки, стоило лишь ей начать рассказывать о нем – вернее, о галлюцинациях этого средневекового неврастеника:

- Ты представляешь, ему действительно явился шестикрылый серафим! Не как у Пушкина, иносказательно, а по-настоящему, совсем реально, понимаешь? Нет, ты понимаешь?! Два крыла над головой, два распростерты для полета, а последние два облекали тело! И прямо на серафиме было изображение Распятого. Ну, то есть, Иисуса Христа. И с тех пор на руках и ногах Франциска появились раны – именно как и Иисуса! Сами появились! И кровоточили!

Что я, врач, мог думать по этому поводу, спрашивается? Но произнести перед Симой слово «галлюцинация» я не дерзнул ни разу. Раз, правда, попытался объяснить ей происхождение стигматов, появлявшихся далеко не только у Франциска, но столкнулся с таким ее взглядом, что сразу понял: эту идею она будет защищать до крови. Так женщины обычно защищают детей. Мужчины – выношенные философские воззрения. И я успокоился: во всем остальном, кроме своего безобидного пунктика, Сима оказалась человеком сугубо трезвым, практическим, а любовницей – некапризной и ненавязчивой.

Ценил я, что она не донимает меня звонками на работу и мобильный и, наоборот, не является ко мне без звонка с целью застать врасплох, не одолевает бесконечными эсэмэсками, требуя на них немедленного ответа и оскорбляясь, если он не поступил в течение пяти минут, и главное, не задает ежечасно того рокового вопроса, после которого с женщиной хочется расстаться немедленно: «Ты меня еще любишь?».

Были у нас и романтические прогулки по парку в трескучий мороз, и однажды она сказала, а мне понравилось, что мы словно проникли в рисунок на крышке лаковой шкатулки. То же, будто ненатуральное голубое небо с тонко выписанными на его фоне черными ветвями, а на каждой – аккуратная полоска блестящего снега; и серебряная аллея вводила нас двоих вдаль меж двух плотных стен словно бы рукотворных деревьев...

Весной мы катались на лодке по заливу, впервые взяв с собой ее шестилетнего сына: я честно хотел, чтобы мы с ним друг к другу присмотрелись. Сима опять толковала про своего Франциска – на сей раз более доходчиво, чтоб прельстить рассказом и ребенка. О том, как, почувствовав приближение смерти, святой созвал учеников и, уподобляясь Христу на Тайной Вечере, преломив и благословив хлеб, раздал и умер, успокоившись на том, что успел отречься от всего земного: даже ветхая ряса, оказалось, принадлежала не ему, а братству...

Что-то мне в этом не понравилось, какая-то привиделась нарочитость, но спорить с Симой по данному вопросу я не собирался: мне давно стало ясно, что на Франциске, равно как ни на чем другом, Серафима не помешается, а иметь невинную «идею фикс» вправе любой из нас. Задумывался ли я о чем-либо наперед, решался ли мысленно на что-нибудь? Почти. Вернее, я уже начал отдавать себе отчет в том, что мои отношения с этой женщиной могут оказаться и не такими, как с прочими...

И как же не хотелось мне потом расставаться с собственными иллюзиями! Когда в один прекрасный день я бесповоротно понял, что мой интерес к Симе стал ослабевать – я испытал глубокую обиду на жизнь! Не она, Сима, уходила от меня, а я уже знал, что скоро утрачу всякое влечение к ней – и все повторится как раньше, с другими, обыкновенными! Я пытался возжечь огонь уходящей любви вновь, насильственно убеждая себя, что чувства мои потускнели только временно, от усталости, от отсутствия новизны – но тщетно. Словно насмешливый примитивный зверь сидел внутри меня и подсказывал: «Ты смотри, талии у нее почти не стало! И ноги короткие! Лицо обычное! Чего ты, дурак, в ней нашел, то целых полгода провозился! У тебя же такие телки раньше были – куда ты катишься?». Я мучился целую неделю, нарочно не звонил Симе, чтобы, возможно, соскучиться и после бурной встречи начать сначала, но... Никакой тоски по ней я не испытывал, в чем и вынужден был признаться себе на восьмой день. Более того, я неосознанно начал улыбаться в ответ нашей новенькой ординаторше, худенькой блондинке как раз моего типа, и, наконец, смирился с тем, что начинаю думать о ней в ее отсутствие... После этого открытия мне стало и легко и грустно. Легко оттого, что с Симой отныне было все ясно: любовь к ней канула в Лету вместе со всеми моими прежними любвишками – и не спасла ее ни Симины необычность, ни мои попытки изменить собственную сущность. А грустно потому, что я вдруг остро понял, что так и предстоит мне до старости перепрыгивать с одной на другую, не привязываясь ни к кому надолго, не неся обязательств и не принимая их от других. Правда, может, под старость я и закреплю при себе приятную женщину – для ухода за моей дряхлеющей персоной и платонических развлечений. Не зря же говорится: «Маленькая собачка до старости щенок» – а как раз ростом-то я не особенно вышел. Да и зовут меня все не по имени-отчеству – Сергей Викторович – а кличут, будто песика: «Серж! Серж!» – и, видно, так и суждено мне прибаваться то к одной, то к другой – но это не я бездомный, а мое непутевое сердце...

...Хорошо хоть, что Надя в тот вечер решила для порядка поломаться и домой ко мне не поехала – иначе ситуация рисковала из сентиментально-грустной превратиться в банально-пошлую. Сима впервые пришла без предварительной договоренности – и я подскочил с дивана от пронзительного, типично Симиного звонка. Вот было бы здорово, если бы Надя оказалась все-таки у меня, и подсказывать нам пришлось бы вместе! Я открыл, тоскливо предчувствуя ненавистное выяснение отношений, и – отшатнулся. На ней была только знакомая мне «дырявчатая», как я ее звал, и «ажурная», как она называлась на самом деле, поросычье-розовая кофточка и черная юбка с двумя глубокими карманами. Обута была Сима в домашние тапочки с помпонами в кулак. При этом – полное отсутствие сумки или пакета. Мобильника на шее нет. Волосы... Ее кто-то за них таскал, или она новую модную стрижку сделала? В наши дни не разберешь, но выглядело страшновато. Глаз я в потемках лестницы не видел, зато слышал дыхание – сильное и частое, как после бега. И в один момент мне стали ясны сразу две вещи: первая – что эту женщину я разлюбил окончательно и бесповоротно, и вторая – что она пришла ко мне со своими проблемами. И мне придется сейчас с ними возиться в ущерб собственной нервной системе и завтрашнему рабочему дню. Бывают же на свете мужчины, которые в подобной ситуации бабу и на порог не пустят! Возьмет такой, да и рывкнет без всяких комплексов: «Извини, милочка, но я тебя не ждал, и у меня другие планы. Что? А вот это – твои проблемы. Спокойной ночи», – и дверь бы аккуратно так прикрыл перед ее носом. Если б трезвонить начала – то звонок всегда отключить можно, способов пять есть... И все: ни тебе объяснений, ни чужих проблем на голову – начинай себе новую привольную жизнь.

Посидит на лестнице, поплачет, да и уйдет. Ну, ногой, в крайнем случае, в дверь постучит – но это тоже с опаской делать нужно: четыре часа утра, соседи и милицию вызвать могут. «Сделай так, чего ты разнюнился!» – властно посоветовал мне тот, который и раньше подсказывал наипростейшие выходы из положения – да только я редко слушал, а всегда «возился», интеллигент несчастный... И на этот раз не послушал, а сдуру начал вникать:

- Сима, Господи, откуда ты? Что стряслось?

- Можно мне войти? – сдавленно спросила она.

Сима тоже интеллигентка, иначе бы дурацких вопросов не задавала, а давно бы уже на диване в гостиной сидела. Разумеется, я разрешил, и до дивана довел, и коньяка плеснул сколько следовало, и рассказец ее жуткий выслушал. Потом оба бы молчали. Я – ошарашено, она – опустошенно. Последние ее слова подействовали на меня странно. Она спросила – можно, мол, я пока у тебя поживу, мне домой сейчас никак нельзя возвращаться. Что домой ей нельзя – это я очень хорошо понимал, и поначалу вокруг этого обстоятельства крутилась только одна мысль – гаденькая, правда, но вполне мужская: «Если Симка тут поселится – Бог знает на сколько – то куда ж я Надю водить буду?». Но с ней я справился, решив, что уж совсем сволочью не окажусь, а с Надеей мы на первых порах по-другому устроимся, благо лето на дворе... Уж собрался я открыть рот и сказать: «Конечно, Симка, о чем речь, раз такое дело!» – но вдруг слова столпились в горле, категорически отказавшись выходить наружу. Друг мой Некто, надежный советчик, зашептал в ухо почти отчаянно: «С ума ты сошел, идиот? Если ее дома нашли, то и адрес любовника знают! И сейчас – сюда идут! Приступают вас обоих, как тараканов! Ее – за то, во что она ввязалась, а тебя – за кампанию, то есть, как свидетеля, придурок! Гони ты ее в шею, пока они еще не здесь! А если такой правильный, то сам беги! Беги, дурак, пока не поздно!!!». Здравость этого рассуждения была очевидна, но как прикажете сообщать все это обезумевшей от страха еще недавно близкой женщине, примчавшейся к тебе в тапочках посреди ночи, и даже не помощи просящей, а – приюта! А так и сказать: «Извини, Сима, но это слишком серьезно. Я человек тихий, мирный, в разборки никогда не лез. И получить пулю в лоб или нож в печень не хочу. Тем более, ни за что ни про что. Так что отправляйся-ка ты лучше в милицию, а меня не вмешивай: мне пожить еще немножко хочется. Примерно столько, сколько уже прожил...» – мой Некто уж и монолог мне подготовил, и в уста вложил – только пошевелить ими осталось. А я не мог, все ждал чего-то: уж больно гадко, оказывается, совсем распоследним подлецом себя выставлять.

И тут заговорила Сима:

- Сержик, миленький, я ведь все понимаю. Но я сейчас, ночью, в милицию идти не могу: страшно очень... Я и до тебя-то как добралась, не знаю... Транспорт ведь не ходит давно! Я все, все знаю, о чем ты думаешь – и правильно думаешь, любой бы так подумал... Включая меня... Поэтому ты просто пойдешь сейчас к кому-нибудь ночевать на всякий случай... Ключ мне оставь, а я его в почтовый ящик потом брошу...

К тому моменту я уже успел опомниться и рассудить, что помочь Симе никто, кроме милиции, не сможет (да и захотят ли они – еще вопрос: говорят, теперь только на трупы выезжают). Идти к ней в квартиру глупо, да и попасть туда трудненько: ключи-то внутри остались, ломать надо. Взломаешь, а там... Ждет кто-нибудь... Нет уж, пусть милиция... А то мне сорок лет исполнилось, только что, можно сказать, жить начал... А переночую у Алика – того, из соседнего дома, с которым рыбачу, тем более, что и не потревожу его: он у нас полуночник, раньше пяти не ложится, все стихи пишет...

- Да, – малодушно промямлил я, – в общем, ты правильно рассуждаешь...

Что ж, так и лучше в конечном счете: по крайней мере, не придется объяснять, почему не звонил так долго, почему весь из себя переменялся, и прочее... Отказ разделить с женщиной ее беду означает отказ и от нее самой. Навсегда. Симка умная, она поймет. И бросим ключи в почтовый ящик. Пойдет в милицию – там помогут. А если нет – то у нее всегда остается... Франциск Ассизский.

* * *

Помню только, что налила себе полный стакан коньяка и выпила не поморщившись. Подошла к разобранной постели, где не раз засыпала на левом боку, правой рукой обхватив туловище мужчины... Сквозь коньячный мрак, наплывавший на меня, пробилось странное чувство: мне не хотелось ложиться на это белье, хотя я его узнала – это было то, с корабликами, я не раз спала на нем с Сержем. Но тогда он был – мой мужчина. А сейчас... Я подошла к дивану и сорвала простынь, пододеяльник, наволочки. Швырнула все в угол и повалилась на голое покрывало. Мне ничего не приснилось в ту ночь. Я просто ухнула в черную яму коньячного сна, а, проснувшись ярким днем, брезгливо бежала из этого чужого теперь дома, двумя пальцами, как гадину, держа холодную цепочку с ключами. Бряк. Она упала на дно почтового ящика. Щелк. Счеты где-то у меня внутри откинули еще одну костяшку – в минус. Этого человека больше в моей жизни не существовало.

* * *

Спустя час в районное отделение милиции пришла женщина, и, только бросив взгляд на нее, дежурный сразу решил: жертва разбоя или даже изнасилования. Вид она имела не вполне приличный: несвежая розовая кофточка в сочетании с мятой юбкой и домашними тапками и отсутствие чего бы то ни было в руках, ясно сообщало, что предьявлять документы женщина не собирается. Когда она приблизилась к стеклянной перегородке, старший сержант увидел вблизи невыразительное, иссера-бледное лицо без следов косметики, и тогда подумал, что беда с дамочкой приключилась не здесь, а на далеком Бодуне. Он уж и выражение соответствующее на свою физиономию начал прилаживать – мол, понимаем-с, мадам-с, не дураки-с – но случайно взглянул ей прямо в глаза, о оттуда на него хлынул ледяной, почти осязаемый ужас. И безысходность.

- Слушаю вас, – недоприделав легкомысленное выражение, серьезно спросил дежурный.

Он, собственно, был готов к долгому невразумительному рассказу, и уж напрягся, представив, как она сейчас возьмет да зарыдает – и возись с ней. Но, услышав голос, твердый не смотря ни на что, и вполне отчетливые слова, понял, что разбирательство будет еще более нудным и безрезультатным, чем показалось сначала. Она сказала:

- Я хотела спросить у вас, к кому обратиться по такому поводу: меня хотят убить и, кроме того, я не могу вернуться домой за деньгами и вещами.

- Муж свирепствует, что ли? Побил, небось, в пьяном виде? – подал голос скучавший в сторонке опер. – Так это мы щас быстренько, вы только адресок продиктуйте. Враз урезоним.

Заранее приняв эту версию, дежурный кинул на женщину полувопросительный-полуутвердительный взгляд. Но она слегка мотнула головой:

- Нет, не муж, а я не знаю кто.

- То есть как это – не знаете? – наострил уши опер. – Вы хотите сказать, что какие-то посторонние лица угрожают вам убийством?

- Они не угрожают, – просто объяснила женщина. – Они уже четыре раза пытались это сделать.

- В каком смысле? – глупо спросил дежурный.

- В прямом, – вяло шевельнула плечом женщина. – Только чудо спасало, – вдруг она нервно усмехнулась: – Я со вчерашнего дня уже четырежды покойник.

- А повразумительней нельзя? – опер решительно выбрался из своего уютного уголка.

- Я за тем и пришла. Потому что точно знаю, что пятый раз станет успешным. То есть, последним. Для меня.

- Адрес, – коротко бросил дежурный, и выслушав, тихо плюнул: – Опять восьмой участок, как заклинило, м... – он поднял на посетительницу испытующий взгляд, оценивая,

относится ли она к той категории дам, при которых можно без зазрения совести матюгнуться. Он не пришел к определенному выводу, уж очень замотанной она выглядела, и нашел выход: – Имя, фамилия, профессия.

- Серафима Долохова, художник.

Дежурный решил от нецензурных выражений пока воздержаться:

- Так, восьмой, восьмой... Коротких... – к оперу – не видел? Ага... Вы вот что... Вон по тому коридорчику направо, четвертая дверь.... Там следователь уголовный с вашего участка должен быть.

Женщина двинулась в том направлении, а дежурный с опером переглянулись и, взглядом сговорившись, отправились вслед за ней, оба опытным нутром чуя, что дело у дамы не тривиальное и сулит развлекуху на час, а то и больше.

Капитан Коротких с утра еще хорошо и вольготно устроился: наладил стажера из Академии Егорку Маслова разбирать и сортировать пыльные папки с делами, чем тот и занимался весьма ответственно, заняв этой макулатурой весь следовательский стол и ближайшее к нему пространство. Сам Иван Михайлович удобно расположился в сторонке, отъехав туда вместе с креслом на колесиках, и вдумчиво читал содержимое серой папки – как думал стажер, изучал неотложное и важное дело. Но два приятеля, ввалившиеся в кабинет сразу за посетительницей, отлично заметили, что в корочки «дела» Коротких, стесняясь стажера, вложил крутой импортный порножурнал – чем и объяснялось выражение глубокого внимания и озабоченности, облагородившее его чело. При виде дамы он папку мгновенно захлопнул:

- В чем дело, гражданка? Кто разрешил?

- Вот они, – кивнула на провожатых женщина, – меня к вам направили.

Коротких поерзал: внешний вид вошедшей начисто погубил все его приятные впечатления.

- Садитесь, – буркнул он. – Извините, к столу не получится, у нас здесь...

- Переучет, – подсказал опер, но шутку никто не понял.

- Егорка, стул! – по-барски scomандовал капитан, и искомый предмет немедленно явился; женщина, не чинясь, села, но сказать ничего не успела – за нее вмиг все выложил дежурный:

- Вот тут гражданочка утверждает, что на нее покушались неизвестные.

- Где покушались?! – подскочил следователь, и все сразу поняли, что начинать надо было именно с этого.

- Везде. Последний раз – у меня дома, – сообщила гражданка, и все сникли: спихнуть дело соседям не светило.

- Рассказывайте, – обреченно откинулся в кресле Коротких.

Она рассказывала, рассказывала и рассказывала. И все оживали, одновременно разочаровываясь: оказывается, покушений-то никаких и не было! А была и есть, как и следовало ожидать, одна дамская истерическая фантазия. Даже заявление по такому поводу свободно можно было не принимать. Опер с дежурным опять переглянулись, взглядом сговорились: «Бабы рассказы» – и исчезли из кабинета очень тихо: раз уж на Коротких натравили – пусть он и разбирается. А он уж мычал, бедный, глаза закрыв и зубы стиснув. Только Егорка замер там, у окна, среди своих папок: оно и понятно, двадцать лет парню, он все еще Володей Шараповым себя мечтает почувствовать...

Зато что хорошо умеет Иван Михайлович – так это с женским полом общаться. Ну, любят его бабы, того не отнять: и внешность подходящая, мужественная, чем-то медвежья, надежная, и повадка соответствующая. В глаза вовремя заглянет, а может даже из кармана платочек стерильный достать и самолично бабе слезы вытереть... Смотреть на это – обхохочешься! А уж если речь толкнет – верят. Все верят, как одна: и задержанные, и подозреваемые, и потерпевшие... Он уже ее в предварилровку оформляет, а она его все еще в благодетелях числит.

Ну а с этой, как ее, Долоховой, и утруждаться не пришлось особо. Закончила она свою беллетристику – он стерпел, перебивать не стал, пусть человек думает, что его внимательно выслушали. Потом помолчал для приличия: пусть считает, что дело ее обмозговывает. И лишь время спустя, начал говорить – сперва вкрадчиво, лишь по пути прибавляя напор и весу:

- Так. Та-ак... Ну, и давайте с вами разберемся как следует. Подробно. Итак, начнем с главного: почему вы думаете, что вас хотят убить? Знаю, слышал, не повторяйте: крышка перед носом просвистела. Потом чуть под поезд не упали. И что? Думаете, не бывает такого? Да вы хоть реально представляете, сколько в нашем пятимиллионном городе за день гибнет народу от несчастных случаев? Да человек сто! Кого током, кто поскользнется – и головой о камень, кто с высоты свалится... Про транспорт я вообще не говорю – там своя статистика, особая... Конечно, нервы у вас напряжены были после такого стресса, и вы, услышав чьи-то шаги за деревьями, – побежали... Вы оглядывались, проверяли, есть ли погоня? Нет. Положим, кто-то быстро прошел через подъезд, где вы спрятались, – и что с того? Да там десять человек за пять минут наверняка проходят! Далее. Вечером вы заснули в кресле. Конечно, заснули, организм-то измучился... И вдруг вам чудится, что кто-то открывает дверь квартиры. Ну, хорошо, хорошо, не чудится – может, действительно были какие-то звуки. И что вы делаете? Подходите к двери, смотрите в глазок, спрашиваете, кто там, чем наверняка спугнули бы, если б там стоял кто... Наконец, вы могли к нам сюда позвонить сразу, или соседям, чтоб загремели замками, милицией, опять же, через дверь пригрозили... Ничего подобного. Вы совершаете неразумные, дикие, я бы сказал, действия. Вы – на шестом этаже! – лезете по балкону в соседскую квартиру и убегаете через другой подъезд. Вы вообще сами-то понимаете, с чем к нам пришли? Правда, может существовать еще и другое объяснение всех этих событий: вас действительно убивают, вы знаете, кто и почему, но нам говорить не хотите, потому что сами в чем-то замешаны... Что вы головой трясете – это ведь вполне правдоподобно! Потому что если вы ничего такого не делали – то зачем кому-то вас убивать, скажите на милость? Я вам вот что скажу: в том, с чем вы пришли, вам помощь никакая не требуется. Идите себе домой, выспитесь как следует, а завтра все покажется вам... Ах, да, не попасть в квартиру, конечно... Но это не в милицию уже, а в жилконтору вопрос. Сговоритесь там с дядей каким-нибудь, на две поллитры дадите – он вам и старый вскроет, и новый вставит... Ну, чего боитесь? Жаль, психолога нет, он бы вам в два счета растолковал: после того, как вы так счастливо избежали м-м... крышки на голову и это... рельсов под током – вам и не такое могло привидеться. Да нет, я не в том смысле, что показалось. Не делаю я из вас никакую идиотку... Просто вы в результате стресса на время лишились возможности адекватно оценивать реальные события: шаги – вам кажется, что по вашу душу, звук странный – непременно квартиру вскрывают... Нет, ну в самом деле – не могу же я к вам охрану круглосуточную приставить... – и продолжая говорить, он, словно между делом, поднялся, потоптался и нацелился на дверь, давая понять, что у него есть спешные и серьезные дела вне кабинета, но он, как человек вежливый, готов даму даже до выхода проводить... На минуту забоялся вдруг, что сейчас забьется в истерике – но нет, поднялась молча и, не кивнув даже, медленно так, пошла восвояси. У двери обернулась – и на миг даже жалко ее стало: измучила себя почему зря... Ну, бабы! Не живется им, блин, спокойно. Сериалов посмотрят – и давай в жизнь воплощать! Женщина вдруг в упор глянула ему в лицо – и ничего истерического не было в ее взгляде – просто смотрела внимательно, и все. Потом проговорила глухо:

- Значит, это правда, что вы только на трупы выезжаете.

* * *

Карманы юбки я только на той скамейке догадалась проверить: тогда и нашла те четыре хрустящие десятки с желтой мелочью, и даже вспомнила, как они там очутились.

Когда я своих провожала, выйдя к машине только с ключами в руках, Васька вдруг заканючил, глядя на вывеску «нашей» булочной: «Слойку, мама, слойку с повидлом!» – и я развела руками, показывая, что денег у меня с собой нет. Но дедово сердце в ту минуту почему-то помягчело, и он полез в свой карман. Вытащил полтинник – мельче не оказалось – и сунул мне: купи, мол, ему, пока мы загружаемся. Я купила две, а сдачу машинально сунула в карман. Когда вышла из магазина, оба уже сидели в машине, и я, возмущившись тем, что сын залез на сиденье без материнского поцелуя на прощанье, сама втиснулась за ним в салон – в предразлучных нежностях позабыв отдать отцу сдачу с булочек... Помню, как махала вслед папиному старенькому «жигуленку», и мордашка моего сынка долго сияла в заднем стекле, и помаховала розовая ладошка по соседству...

Все. Некуда больше идти. И не у кого просить помощи. Мое вернулось ко мне. Семь лет назад я предала подругу (не предала бы – не было бы на свете Васьки) – но вчера настал ее черед отказаться от меня. Я полгода изменяла любимому с другим – веселым и посторонним – что с того, что мы не виделись с Ильей почти семь лет – любить-то я его не перестала! И сегодня воочию убедилась, чего стоят отношения, не требующие добровольной взаимной ответственности... Мне осталось только сидеть на этой скамейке – и ждать, пока ко мне не подойдут – в последний раз.

Глава 4 Пробуждение великого города

Кто введет мя во град ограждения?

Пс.107, ст.11

Но сидеть вскоре стало холодно – волей-неволей пришлось подняться и пойти. Привыкнув за много лет всегда держать путь в определенном направлении, я сначала даже растерялась, едва ли не впервые в жизни осознав, что идти мне некуда и не к кому. Разумеется, минутный порыв уныния прошел, как не было – не в моей природе сидеть и спокойно ждать конца. Я родилась человеком действия, всегда приучала себя думать, что не может быть такого безысходного положения, чтоб уж совсем нельзя было ничего предпринять. И сейчас, медленно двигаясь по смутно знакомой улице нашего бестолкового района, я понимала, что решение вот-вот придет – нужно лишь внимательно прислушаться к себе и выбрать из всегдашней толчеи в мозгу одну-единственную мысль – неоспоримо правильную. А для начала необходимо было отринуть все неверное, наносное, эмоциональное, что не давало сосредоточиться на главном.

Что мне мешает? Прежде всего, Рита и Серж. Рассмотрим. Что, так уж хороша была эта моя подруга? Да, на определенном этапе. Но этап тот кончился, и ей следует уйти из моей жизни: мы, по всей видимости, выполнили программу-максимум нашей дружбы. Итак, нет больше Риты. Ну, а Серж? Положа руку на сердце – любила я его? Да нет, конечно. Ставку серьезную делала? Да Боже упаси. Использовала как временное средство от одиночества, приятную иллюзию пристроенности. Более того, говоря ему о любви, я прекрасно отдавала себе отчет в том, что беспардонно вру – вру потому, что так жить интересней. После всего этого – вправе ли я была ожидать, что он самоотверженно рискнет жизнью, впутавшись в мой сомнительный детектив? Он вполне мог не пустить меня и на порог, чтоб не подставлять своего адреса – но не выгнал, хоть один приличный ночлег обеспечил – и спасибо ему на этом. Не отказал бы, если б и денег попросила, а можно было одолжить у него джинсы, рубашку и куртку – а я, дура разобиделась и не догадалась. Впрочем, тогда я еще атавистически уповала на милицию... Господи, как все-таки трудно рассуждать на голодный желудок! Но на сорок рублей не пообедаешь, да и пригодиться они могут на более важное... Хотя... Нет, скажите, пожалуйста, какими категориями я еще мыслю! Пообедать... Салат, первое, второе, третье, и, пожалуй, кофе с пирожным! Да вон

булочная через дом – купить два бублика и маленькую бутылочку воды! Хм... На воду-то зачем тратиться? Подобрать пластиковую тару на улице, отмыть под краном – да вон в той детской поликлинике! – и обеспечить себя водой бесплатно. А потом уж подумать о том, где ночевать и как раздобыть денег. Впрочем, последнее предельно ясно: на шее у меня золотая цепочка с кулоном, на одном пальце два кольца, на другом – три, в ушах – сережки с жемчужинами – все это дешевенькое наследство всяких там любовничков, но, поскольку сделано оно из золота, то может быть заложено. Другое дело, что без паспорта залога не примут, следовательно, главная моя цель на данный момент: нарыть у себя в черепной коробке человека, к которому можно явиться вот так, в грязном свитере, в тапках, и сказать: «Можно мне, во-первых, постирать у тебя в ванной свитер, и, по крайней мере, дождаться, пока он высохнет, если уж нельзя переночевать. Во-вторых, найти в твоём доме какую ни есть женскую обувь, отличную от домашних тапочек, и взять ее на время – а заодно и ветровку, например, потому что лето сегодня как-то больше напоминает середину осени. В-третьих, одолжить у тебя несколько тысяч рублей, а если у тебя их нет, что очень в наше время естественно, – то послать тебя с твоим паспортом и вот этим дрянным золотишком в ближайший ломбард. И, наконец, давай ты не будешь спрашивать, зачем мне все это нужно, а просто молча сделаешь – и все?». Дальше я бы уж знала, что предпринять: я бы уехала за город, где за сто рублей в день вполне можно снять комнату у бабули в деревянном домике, а предложив ей еще пять сотен единовременно, обеспечить себя домашними харчами на две недели. После этого мне нужно будет... самой искать того, кто хочет меня убить – и либо я до чего-нибудь додумаюсь, либо он доделает свое дело.

...Но пока я сижу здесь, в поликлинике, в тихом закутке возле кабинета физиотерапии и жадно доедаю второй черствый бублик, жадно запивая его сырой водой, об этом думать еще рано: нужно сперва обзавестись деньгами и крышей над головой. Дело за немногим: решить, кто же тот человек, который окажет мне сегодня все эти маленькие любезности. Я могла бы сейчас сбегать к двум-трем добрым знакомым из художников – там, пожалуй, и место для жизни подыскали бы, и шмоток собрали чемодан, а уж шапку по кругу – само собой, плюс золото, конечно, заложили бы в пять минут. Но вот этого-то делать мне и нельзя: сейчас убийца – или убийцы! – не знают, где я и что собираюсь делать. Но если к моему устранению готовились хоть сколько-нибудь добросовестно, то мой основной круг общения – то есть, все адреса, по которым я могу отправиться, – им известны. Меня не засекли сегодня у Сержа, но может, это потому, что не успели, проверяли других – а скорей всего, неожиданно упустив четыре раза подряд, попросту разрабатывали новый план действий – и теперь-то облава запущена, будьте спокойны! Значит, человек, к которому я пойду сегодня, должен быть вне списка! Разумеется, за тридцать семь лет моей жизни многие безвозвратно исчезли из нее – но ведь продолжают свою! Мне это всегда казалось странным: ведь когда расходишься с человеком навсегда, – будь то мимолетный знакомый, приятельница, возлюбленный, учитель, коллега – он словно исчезает с тела планеты насовсем. Как же: раз меня больше нет в его жизни, то что ему здесь делать, собственно? А оказывается, он живет себе и живет, переезжает в новый дом, растит очередного ребенка, ходит в гости, смеется, строит планы, а может быть, и вспоминает порой, что вот знаком был когда-то с такой Симой Долоховой – стервой из стерв, или, наоборот, приятнейшей, интеллигентнейшей девушкой – и все без меня, без меня! И чем ближе был человек, тем сильнее это странное, гиперэгоистическое чувство...

Но вот вопрос: кто из призраков моего прошлого захочет увидеть меня, такой же призрак из собственного минувшего, причем, не обязательно приятного... А если это привидение потребует еще и какой-то дурацкой, совершенно непонятной и ни в какие рамки не лезущей помощи?!

В поликлинике было откровенно прохладно, а при взгляде на окно мурашки дружной стайкой бежали вдоль позвоночника: там, в не по-летнему даже на вид воздухе, носились подхваченные влажным ветром грязные бумажки вперемешку с серой ватой тополиного пуха; отчаянно извивались деревья, мотая уже несвежими, не смотря на июнь, темными

кронами, и громадные мутные тучи, еще не павшие на землю дождем, тяжело нависали над зловеще-розовыми коробками «хрущевок»... Чтобы что-то предпринимать, приходилось идти туда, подставить беззащитное тело в тонкой дырчатой кофточке ударам ветра и грядущего дождя, – что невозможно было даже представить без содрогания.

«Дачу, конечно, тоже уже проверили» – вдруг подумала я – и подскочила: хорошо, если только проверили! На кого же еще можно выманить мать, как не на ребенка! На миг мне стало дурно, в глазах потемнело. Задохнувшись, я откинулась к стенке, лишившись на несколько минут способности соображать. Зато, когда она ко мне вернулась, то удвоилась: я поняла, что пока злоумышленники не получают возможность пригрозить мне Васей, им незачем трогать его. А телефон мой лежит дома, о чем они уже знают, и другой связи со мной у них нет. Не станут они возиться с похищением ребенка, понятия не имея, где искать его мать. Значит, я должна найти их раньше, чем они пойдут на крайние меры, найти и... Я буду знать, что делать тогда. И для этого надо идти, идти прямо сейчас, вот только я все еще не могу даже предположить – куда! Мелькают в памяти разные, по большей части безразличнее мне теперь лица, и по собственному безразличию я угадываю и их аналогичное отношение к моей персоне. Нет, никто из них не поможет, а если кто-то один и согласится – как вычислить именно его среди всех этих отживших свое в моей жизни людей? Нет такого человека... А почему нет? Да потому, что я так легко скользила по жизням – чужим и своей – стараясь не оставлять глубоких следов и не приобрести тем самым обязанностей. А оказывается, ни у кого теперь нет ни крупицы долга по отношению ко мне. Сказать бы: «Помнишь, два (три, четыре) года назад я тебе... И вот сейчас мне бы хотелось попросить...». Но раньше я всегда скрупулезно возвращала долги любого рода – неукоснительно требуя того же и с других. Единственный человек, к которому стремится мое сердце уже семь лет, недоступен во веки веков – по молчаливому уговору при последнем прощании...

Помню, ожидая в роддоме, когда Васю в первый раз принесут на кормление, я нервничала страшно: боялась вдруг увидеть преобладающие собственные черты в личике ребенка. Но нет, из-под казенной тряпки, намотанной моему сынку на голову, смотрел на меня маленький Илька – и в тот момент я зареклась когда-либо еще искать встречи с Илькой-большим. По иронии судьбы, возможно, именно он и сумел бы мне помочь: помнится, в разговорах наших тогда, в той жизни, упоминался, больше смеха ради, могущественный дядя в чинах, причем чины принадлежали известным «органам». Задействовать бы сейчас того дядю! Небось, за полчаса разобрался бы... Но, во-первых, отец ребенка может неведомыми путями оказаться известным моим преследователям, и уже находиться под наблюдением, а во-вторых... Больше всего на свете желая увидеть любимого снова, я подспудно чувствовала, что если наша встреча пойдет как-нибудь не так, промелькнет в ней что-то скользкое, натужное, натянутое... – то это может оказаться для меня трагедией более страшной, чем вечная разлука. Ведь и в ней из последних сил я старалась сохранить образ возлюбленного кристалльным, а наши отношения – не замутненными никакими непонятностями. Это было то, чем тайно жила моя душа, и потерять – означало перекроить душу на новый лад, а такое может и не получиться. Кроме того... Даже под угрозой смерти не умерло во мне суетное, чисто женское. Номер телефона Ильки давно сменился (о чем сообщил робот в телефонной трубке нашему общему знакомому, а тот случайно – мне), значит, нужно ехать прямо в дом. А предстать перед любимым человеком спустя семь лет оборванкой, с сеном вместо волос, без макияжа, – но зато с сообщением, что он уже шесть лет как отец, а мать его ребенка невесть кто хочет укокошить, – даже под страхом получить пулю из-за угла я не могла.

Я еще раз тоскливо провернула перед мысленным взором безнадежный калейдоскоп мужских и женских лиц, обладатели которых хоть сколько-нибудь сердечно соприкоснулись со мной в прошлом. Да, вот Саша Соколов, пожалуй, помог бы мне. Он помнит, не может не помнить, как однажды в скором поезде Москва-Петербург познакомились молодые мужчина и женщина. Познакомились в коридоре, и лишь

глубокой ночью, после Бологого, обнаружили незапертое, но пустое купе в соседнем вагоне... Он не забыл ни единого слова из сказанных тогда – и долго звонил, недели и месяцы спустя из Москвы... Но другим была я тогда озабочена и увлечена – и все сошло на нет, не получив у меня поддержки... Но где искать его, Сашу, теперь?

Марина Степановна – моя, скажем так, крестная мать в искусстве, твердой рукой поставившая меня на дорогу профессионала. Но ей теперь за восемьдесят, она чудом перенесла два инфаркта и ждет, когда третий ее dokonает – не опереться мне больше на ту некогда железную руку, что сама теперь шарит, дрожа, в поисках отсутствующей опоры.

Леля Волошина – веселая рыжая Лелька, продружившая со мной все незабвенные годы училища и не один пуд соли со мной скушавшая, да и дерьма тоже отведавшая: однажды в юности нас обеих вместе изнасиловали. Это никак не сказалось на нашей психике (впрочем, дело делалось весело и без зверств) – но сблизило почти как сестер. Да и без того добрая Лелька была безотказна, неизменно приветлива и надежна, как стены родного дома – но однажды вышла замуж за лейтенанта-подводника. Она может оказаться в Питере сейчас. Приложив некоторые усилия, я бы могла отыскать ее, но... Но помню бесконечные белые буквы, медленно плывшие по траурному экрану, когда вся страна, смаргивая слезы, читала имена – и я охнула вдруг, увидав знакомую смешную фамилию, преданно взятую Лелькой вместо собственной, благородной – только перед ней стояло уже не «лейтенант», а «капитан второго ранга»... Нет, и к Лельке нельзя: она другая теперь, неизвестно какая... Да и есть ли вообще на белом свете Лелька, горячо шептавшая когда-то: «Вот родной он мне, кровный, понимаешь? Если с ним... Если он... То и меня в тот же час не станет. Не веришь? Нет, я ничего с собой не сделаю... Я не переживу, понимаешь? Сердце – само остановится...».

А мое не остановилось пока. Может быть оттого, что Илька жив, это я точно знаю. Другие, бывшие до и после, по-настоящему ничего... И тут я вспомнила. Вспомнила и поняла, что это – последний, единственный и беспроигрышный шанс.

* * *

Двенадцать лет назад, как чумная, промчалась одна знаменательная весна. Знаменательная тем, что в ту весну меня действительно любили. Нет, конечно, любили меня и предыдущими веснами, и многими последующими, плюс всеми другими сезонами, а реже всего – зимой, но только однажды любили – так. Не я более или менее варварскими способами добивалась ответного чувства от понравившегося мужчины, или же принимала всегда одинаковые, заведомо ни к чему доброму не ведущие ухаживания, – а мужчина любил меня, лишь снисходящую, и безропотно жил под дамокловым мечом расставания, беспощадно занесенным мною над его покорно опущенной головой.

Как он мне не нравился, кому сказать! Да и объективно, вероятно понравиться мог только на необитаемом острове. А меня еще с осени одолела тяжкая хандра, обычно разгоняемая первым теплом, а оно все не приходило и не приходило, словно март решил в насмешку и назидание здеживущим, смениться ноябрем. До конца календарного апреля стояли ветреные морозы, и передумавшая распускаться верба уныло качалась под тяжелым сероватым снегом, и я чувствовала себя жестоко обманутой и оттого злой и раздражительной.

Я тогда только начинала сознательно-самостоятельную художественную жизнь, мечты о персональной выставке могли явиться лишь с оттенком горькой иронии, я не обзавелась еще собственной мастерской, и добыть ее казалось невозможным. Картины к тому времени были проданы только четыре – из за всю жизнь написанных! – и те, как теперь мне пронзительно ясно, добрые знакомые моих друзей купили из жалости. Постоянно сидеть у себя на шее отец мне не позволял, да и я сама рвалась обрести хоть призрачную независимость, прервать ежедневные упреки в нахлебничестве, неизменно начинавшиеся словами: «Вот если бы ты послушалась отца и получила достойную профессию...».

Это сейчас я переоформляю раз в месяц одну-единственную витрину за то, что хозяйка магазина предоставляет мне зальчик под мастерскую с отдельным входом со двора. А в тот год я, кажется, изготовила половину вывесок в городе, разукрасила дешево и сердито несметное количество кафе, ни одно из которых не дожило в первоизданном виде до наших дней, преобразила сотни окон магазинов в радующие глаз витражи... Тогда это меньше шло нарасхват: отчаянно приватизируемый город наспех превращал в доходные места самые безнадежные помещения без-окон-без-дверей. Весь этот мой труд теперь пропал безвозвратно. Ах нет, вру, есть на Васильевском острове, на одной из линий, что идут от Большого к Неве, какой-то семейный клуб. Двенадцать лет назад там был магазин не помню каких товаров – и я создала на его оконных стеклах золотистую сетку с виньетки. Помню, трафарет пришлось вырезать из ватмана за одну ночь – и от долгой напряженной работы со скальпелем распух и весь истрескался средний палец правой руки... Так вот, это окно до сих пор стоит в золотую сеточку, и, проходя мимо, я всякий раз легонько умиляюсь, как это всегда происходит при встречах с прошлым, не оставившим болезненных следов...

Но однажды два внезапно разбогатевших дурака решили открыть крутую пиццерию: отремонтировали купленный нижний этаж дома, задумались об интерьере и решили, что им нужен не просто «господин оформитель», а «в натуре, блин, художник, и, типа, с дипломом». Случайно кто-то предложил меня – и уже на следующее утро я объяснялась с двумя толстошеими обалдуями – тогда все они носили красные пиджаки – на тему о том, что именно «в натуре, блин, итальянское» они хотят видеть изображенным на своих восьми побеленных стенах. Помню даже занятный диалог (за окном валил пышный снег, заботливо хороня едва-едва решившуюся за пару мелькнувших тепловатых дней выдавить блеклые почки хилую городскую березу).

- Гравюры из «Декамерона» могу скопировать.

- Гравюры – откуда?

- Из «Декамерона» – что?

Два хозяина, как оказалось, гармонично дополняли друг друга имевшимися знаниями, и мы столковались к обоюдному удовольствию.

- Только мы тут еще одного чувака взяли.

- Что за чувак?

- Да тот, который – потолок с окнами.

- И светильники.

- Я это все и сама могу.

- Так мы ему уже аванс выдали.

Я заранее разозлилась на предприимчивого конкурента, едва ли не из глотки у меня вырвавшего хороший куш, а когда на следующий день увидела коллегу воочию, то вообще едва сдержала себя в рамках приличий, вовремя вспомнив, что минимум месяц трудиться мне с ним в одном помещении...

«Ну и убище, прости, Господи!» – первое мое впечатление, собственно, и не изменилось никогда.

Мне было двадцать пять, а субъекту, как потом выяснилось, – тридцать восемь, хотя в момент знакомства я в мыслях щедро отмерила ему все полста. Он был, в общем, не очень большого роста, но неестественная, почти карикатурная худоба, прибавляла ему и высоты и неуклюжести. Лицо он гладко брил, но Бог весть почему, оно имело сероватый цвет небритости, словно вечно грязное – хотя чистюлей и аккуратистом Гоша был отменным, почти фанатичным. От его приветливой улыбки можно было с непривычки шарахнуться: хотя недочета зубов и не наблюдалось, но даже уже не коричневый, а оранжевый их цвет, следствие беспрерывного, навязчивого курения кубинских сигарет, мог попросту испугать ярким контрастом на общем фоне темного лица. Вдобавок, черты его лица приходилось попросту угадывать (это делали, вероятно, только художники – по привычке), потому что глубокие, как противотанковые рвы, морщины ухитрились перечеркнуть даже надгубье – и

вольно разбрелись во всех направлениях. Апофеозом явилась фамилия, незабываемая, – Кузькин – и я представила себе, сколько издевательств несчастный и, в особенности, его мама, должны были из-за нее пережить. Гоша Кузькин, лишь раз сверкнув шокирующей улыбкой, вновь принял вид мрачный и суровый, что порадовало меня несказанно, так как я понадеялась, что контакт с временным сослуживцем будет, благодаря его нелюдимости, сведен до самого минимально необходимого...

Но этот человек полюбил меня. Может быть, такое чувство следует называть как-то иначе, не знаю. Я долго исповедовала убеждение, что любовь можно сотворить только совместно, это как дитя, всегда имеющее именно двух родителей. Односторонней может быть влюбленность, влечение в той или иной форме, страсть, жалость, наваждение – но не любовь. Неразделенное чувство всегда неполноценно, а поскольку нет на свете ничего полноценней и гармоничней любви, то одна половина ее – это всего лишь половина. Я долго так думала, укрепилась в этой мысли после встречи с Ильей, и несколько лет после расставания с ним не переставала так считать. Но теперь, когда последняя наша встреча уходила все дальше и дальше, и все меньше и меньше оставалось надежд на то, что со временем «образуется», а мое чувство к нему ничуть не слабело, я начала сомневаться в правильности той теории. Так что, может быть, Гоша именно любил меня, не знаю – любил той любовью, которая обязывает именно любящего, любимого же оставляя свободным...

Гоша оказался человеком спокойным и дружелюбным, более того, каменно надежным, что в наше время уже практически не встречается, а лет десять назад еще попадалось как исключение. Он мог ненавязчиво помочь – например, отжать краски, вовремя вымыть нужную кисть, деликатно подсказать, и очень скоро его безобразная внешность перестала вызывать у меня нервную дрожь. Мы начали мирно разговаривать за работой – о том, о чем все говорили тогда: о политике, кризисе, будущем страны. Подвешенное состояние всех без исключения людей в те зыбкие бархатно-революционные годы сблизало и во всем остальном хоть сколько-нибудь единомышленников. Мы стали вместе ходить на обед в кафе напротив – и в один из дней Гоша неприятно поразил меня, взяв у стойки полный граненый стакан водки и профессионально выпив его без отрыва, словно воду в большую жажду.

«Алкоголик», – твердо решила я, готовясь к неизвестным страшным последствиям. Но... Последствия оказались приятными. Границ Гоша не переходил, зато становился старомодно галантным и сентиментальным, его тянуло петь за работой – а слух у него имелся неплохой – и я слушала с удовольствием, иногда подпевая. Так мы исполняли дуэтом наиболее душещипательные из тогдашних бардовских, и работа спорилась прямо по утесовскому принципу.

Неповторимо хороша оказалась и мастерская у Гоши – вернее, это была его законная квартира, в муках выменянная. Квартира на Крестовском в старом фонде располагалась на верхнем седьмом этаже и представляла собой одно квадратное помещение огромных бальных размеров. Чудеса планировки квартир в домах нашего родного города весьма впечатляющи и разнообразны. Зал начинался сразу за входной дверью и кроме нее имел лишь одну дверцу, где помещались самые необходимые удобства, ванна же торжественно присутствовала прямо в углу комнаты. В самой комнате ничего особенного не было – типичная мастерская художника-прикладника (живописью Гоша даже не баловался), то есть склад самых различных вещей, любая их которых нормальным человеком давно была бы выброшена в помойку, а у Гоши вдруг оказывалась самой незаменимой из всех. Но вот окна в комнате были французские, то есть, попросту стеклянные двери, и вели они... прямо на персональный Гошин кусок крыши более низкого дома. С обеих сторон кусок огораживали желтые глухие стены двух, наоборот, более высоких домов, а шагах в двадцати от выхода на крышу тянулось добротное каменное ограждение, весьма симпатичное, в виде пухлых ваз, поставленных плотно одна к другой. Прямо на крыше из ниоткуда рос тополь, а под тополем Гоша поставил желтую скамейку. Такого чуда, как его жилье с прилегающей территорией я в жизни моей ни до, ни после не видела. Хозяин всей

этой роскоши, к тому времени уже необратимо влюбленный, предложил мне поработать у него над моей тогдашней картиной (помнится, к лету я домучивала маслом какое-то свое сугубо осеннее настроение), чтоб не подвергать ни картину, ни свой образ жизни издевательским комментариям моего тогда еще служилого полковника. И, покончив с «Декамероном», я действительно много и хорошо работала в мае, окруженная Гошиной теплой заботой и даже на готовом питании. Но перед самым летом и мне, и картине со всеми причиндалами пришлось неожиданно покинуть этот самый уютный дом в моей жизни. В тот день мы с Гошей, наконец, сломали последний, разделявший нас барьер физиологии. Я думала, что хотя бы из элементарного чувства благодарности, должна осчастливить человека, так упорно и нетребовательно старавшегося превратить мою жизнь в сносную – в условиях, когда мало кто из честных людей мог позволить себе такое излишество. Но вид Гоши совсем без одежды неожиданно вызвал у меня настоящую, без примеси переносного смысла, тошноту: я во всех подробностях вспомнила мужской скелет, выставленный в Кунсткамере, – и после этого мне осталось только в ужасе зажмуриться, стиснуть зубы и регулярно сглатывать. Никакие усилия Гоши, любовника на удивление умелого и понимающего, не смогли даже сгладить впечатление. Оно оказалось таким, что скрыть физическое отвращение я не смогла даже из врожденной деликатности... Позже, будучи не в силах даже просто оставаться рядом с этим человеком, заставившим все мое женское естество испытать сокрушительное потрясение, я под каким-то предлогом выскользнула на улицу, где и прошлялась до вечера, остро жалея, что Рита уехала в отпуск, и мне некому в красках поведать о случившемся кошмаре.

А когда вернулась – обнаружила свои вещи, вплоть до последней мелочи, тщательно упакованными, а картину, к тому времени подсохшую, – укутанной в два фланелевых одеяла и тоже полностью готовой к выносу. Все выглядело явно не подлежащим обратной распаковке. Мне стало нехорошо.

- Гоша... – выдавила я. – Зачем же так... Из-за пустяка... Я готова извиниться... А потом все, может, и наладится...

О, сакраментальная фраза всех, кто надежду эту потерял давно и окончательно!

- Извиниться – за что? – поднял Гоша глаза, и я впервые с удивлением заметила, что они у него даже красивые, редкого светло-орехового цвета. – За то, что ты не любишь меня? За то, что не можешь быть со мной?

Я неопределенно мычала, начиная, однако, понимать, что выход из создавшегося невозможного положения найден радикальный и наилучший.

- Это я должен извиняться, – печально продолжал Гоша, не сводя с меня своих не вовремя рассмотренных мною глаз. – Что исподволь принудил к близости женщину, про которую точно знаю, что она меня не любит. И то, что люблю я – не извинение. Нет, не извинение. Поэтому видеться нам с тобой теперь... Не могу. Больно очень, понимаешь? Но если что, ты знай: я приду в любой момент. Как только позовешь. Но если не позовешь – я не приду никогда.

* * *

Я никогда и не позвала его. Это он не утерпел шесть лет спустя, когда очередной кризис, почему-то показавшийся многим аж концом света, бросил людей с мешками и последними деньгами в кошельках к торговцам едой, сразу же бесстыдно взвинтившим цены. Отец мой демонстративно, «чтоб не видеть эту подлую шлюху», уехал в гости к давнему другу еще в июне, а я, накануне родов, могла смотреть на панику лишь со стороны. Смотреть и ужасаться: оставшиеся деньги я буквально на днях благоразумно потратила на приданое будущему малышу. Крупная сумма, обещанная мне на следующей неделе за последнюю, выстраданную уже во время беременности картину, накрылась не медным тазом, а тяжелой дубовой крышечкой: мне стало до боли ясно, что сделка теперь состояться не сможет, и скоро мне будет просто нечего есть. В долг никто не давал: одни

набивали шкафы и чуланы, предвидя едва ли не блокадный голод, другие же были застигнуты кризисом в местах отдыха и просто не успели вовремя вернуться...

В миг, когда зазвонил телефон, находясь у окна в ступоре ужаса, я как раз наблюдала немыслимую картину: через двор наискосок важно шествовал лысый господин, неся перед собой несколько голов сыра, составленных в пирамиду. Сколько это весило – не знаю, но господина мотало из стороны в сторону от усилий, которые он прикладывал, чтоб сохранить равновесие и не обрушить свою Вавилонскую башню. Чем закончился сырный поход, мне досмотреть не удалось, потому что пришлось ковылять к телефону. И вот, поди ж ты! Беря трубку, я подумала: «Смешно было бы, если б вдруг Гоша – именно сегодня...». Наверное, это помогло мне не онеметь от изумления, когда я действительно услышала его голос:

- Сима, ты извини... Я и сам знаю, как глупо вдруг объявляться через столько лет. Скажи – и я положу трубку. Но просто в эти дни у меня сердце не на месте... Вдруг, думаю, тебе нужно помочь, а некому... Бывает ведь... Сим, но если все в порядке, то просто из вежливости разговаривать – не надо...

- А у меня не в порядке, – замогильным голосом доложила я, моментально прозрев и сообразив, что вот сейчас мне капитально помогут, и шанс этот упускать нельзя ни под каким видом. – Мне и пакет пшена купить не на что!

- Господи... – растерялся он. – Давай немедленно встретимся... Я тебе дам денег... Сколько смогу... Вместе купим, что тебе нужно, и машину сейчас у приятеля возьму – отвезем...

- Никуда я не могу приехать, – ответила я сквозь предательски навернувшиеся слезы. – У меня нет даже на жетон метро... Кроме того, я беременна на девятом месяце...

- Ты... – оторопел он у себя в мастерской, но через секунду сорвался на крик: – Сиди дома и никуда не уходи! Сейчас я приеду! Только, ради Бога, не плачь! Я устрою все очень быстро! Держись там, слышишь, Сима?!

И он устроил. Через два часа пикап, под крышу забитый самыми различными, но в основном долгосрочными продуктами, разгрузался у моего подъезда. В придачу Гоша сунул мне пачку денег, и я взяла, не ломаясь, лишь предупредив на всякий случай:

- Не знаю теперь, когда смогу отдать, сам понимаешь, – и многозначительно опустила взгляд – понятно, во что он уперся.

- И не надо, что я, не понимаю, что ли... – он стоял у меня в прихожей, тоже глядя вниз, и мы оба знали, что не следует устраивать сейчас совместное чаепитие с воспоминаниями. – Только одно: – Отца у него... – кивок на мой живот – нет?

- Есть. Иначе откуда бы? – безуспешно попыталась усмехнуться я.

- Но... не любит? – уточнил Гоша.

- Любит.

- Тогда почему... Впрочем, это я, наверное, лишнее спрашиваю...

- Лишнее, Гоша...

Он вздохнул, и в мои чуткие по случаю интересного положения ноздри с разлету бухнула волна нешуточного спиртного перегара.

- Зачем ты пьешь за рулем?

Он уже выходил, я почти закрывала дверь. Обернулся, глянул особенно:

- Мне теперь все равно. Давно-все-равно. Грустная рифма, да?

Непроизвольно я рванулась за ним на лестничную клетку: мы, ведь, женщины, стервы не простые, а жалостливые.

- Гоша, стой! Нельзя же так! Шесть лет прошло – и так говорить! – я двумя руками схватила его за предплечье, стараясь развернуть к себе, посмотреть в глаза...

Он осторожно отцепил от своей руки мои пальцы, улыбнулся почти беспомощно:

- Смотри, сейчас дверь захлопнется, и будем еще и взламывать.

- Но ведь нельзя... – упиралась я.

- А ты позови, когда будет можно! – вдруг почти зло бросил он и запрыгал по лестнице вниз.

- Это уж извините, себе дорожке станет, – пробормотала я себе под нос, в мелкие клочки раздирая бумажку с его номером телефона, сунутую им мне в карман сразу после прибытия...

Зря. Надо было номерок затвердить, как «Отче наш» – не каждому посчастливится иметь в руках телефон человека, готового в любой момент придти на зов – но тогда мне казалось, что именно Гошу мне звать никогда не придется.

А теперь выходило – больше некого. Я ехала в метро на Крестовский и представляла себе, насколько за очередные шесть лет изменился Гоша: первые шесть не оставили на нем никаких следов. Наверно, состарившись раз лет в тридцать, Гоша постепенно «врастал» в свою пятидесятилетнюю внешность – и сейчас, когда ему действительно вломило полтинник, должен выглядеть, как и при первой нашей встрече двенадцать лет назад...

Приятное новшество в его доме, куда я прибыла часам к десяти вечера, заранее обнадежило меня: лифт не только работал, но и был заменен современным, и мне не пришлось задыхаться, карабкаясь на самый верх по крутой лестнице.

Почему мысль о том, что Гоши может попросту не оказаться в этой квартире – потому что лето, потому что переехал, потому что в больнице или в могиле, наконец, – почему эта мысль ни разу не пришла мне в голову, пока я, вдавив уже каменеющий палец в тугую вогнутую кнопку звонка, бесконечно долго слушала его душераздирающий визг? Я отказывалась верить – и все. И пальца от кнопки не отрывала.

«Буду сидеть здесь, на подоконнике, пока не придет», – с твердой решимостью отчаянья постановила я, когда руку, до плеча затекшую, пришлось все-таки опустить. В состоянии секундного отупения или, лучше сказать, оглушения внезапно наступившей тишиной, я прислонилась к прохладному черному коленкору плечом и виском – и неожиданно лишилась опоры! Я падала в Гошину квартиру, потому что дверь оказалась не запертой, а лишь плотно прикрытой! Но на ногах я устояла, ввалилась и огляделась. Первое впечатление помню великолепно: «Значит, все-таки съехал отсюда. Здесь бомжи, наверное, поселились. Бежать скорей, пока нет никого!». Потому что беспорядок, безраздельно царивший в зале, никак не мог принадлежать художнику, называясь не художественным, рабочим, творческим, а банальным грязным и вонючим бардаком. Всюду валялись какие-то помоечные лоскутья; мебель, не то просящаяся на свалку, не то, наоборот, оттуда прибывшая, была заставлена и завалена пустыми бутылками и тошнотворными объедками; треснувшее стекло французского окна кто-то наспех залепил газетой, давно желтой и взлохмаченной; у стены на бывшем красном, а ныне буром диване, который, наверное, еще Ной использовал в своем ковчеге, валялось бесформенной грудой замасленное лоскутное одеяло... Но главное – нет, не дурной запах, а мерзкий смрад победительно стоял в этом загаженном помещении – вонь, словно вобравшая в себя все самые гнусные оттенки запахов в мире. Прижав руки к груди, я инстинктивно попятилась, и, наверное, так и выбралась бы без потерь, если б вдруг не услышала придушенный стон. Я замерла; стон повторился, дав мне возможность определить его источник и качество. Источником оказался диван, где валялся бесформенный одеяловый куль, по-видимому, содержавший в себе человека. И человек этот был вусмерть пьян, потому что стоял особым нетрезвым образом: именно такие звуки издавал, бывало, во сне незабвенный первый Риткин муж – она как-то раз дала мне послушать.

«У, нажрался, бомжина...» – прошипела я, когда отхлынул приливший поначалу к сердцу испуг. Я, разумеется, не собиралась делать что-либо для облегчения участи несчастного, какой бы она ни была, – лишь на секунду бросила взгляд в сторону дивана, уже, собственно, через плечо, выходя.

И замерла вторично, почувствовав, как меня изнутри словно кто-то взял двумя пальцами за сердце, легонько дернул его вверх-вниз – и отпустил. Это было не больно, но... страшно. Не тем страхом страшно, что вот умру сейчас от разрыва, а что уйду, не

узнав нечто исключительно важное, что пока до меня не доходит, хотя я уже это вижу... Что так поразило меня? Я бестолково шарила взглядом по дивану – вернее, по человеческому кому на нем. Да, определенно, торчит нога – в обуви. Что же сердце выделяет такие кульбиты, Господи?! Я опасливо придвинулась к спящему принцу, почему-то как магнитом влекомая именно его бессмысленной ногой. Приблизившись, констатировала: бывший замшевый полуботинок. Уже блестящий, как лакированный, но добротного производства, раз, столько лет ношенный, не развалился, а только самопроизвольно сменил фактуру материала.

Но внутренний трепет не отпускал; я пригляделась внимательней. Теперь – бурый, а был когда-то, кажется...желтый!!! – и меня покачнуло. Итальянские желтые полуботинки! Это в таких в конце августа девяносто восьмого Гоша Кузькин помогал своему приятелю разгружать машину с продуктами для меня, и, оступившись с ящиком китайской лапши в руках неосторожно плюхнул ногой в полуподсохшую вязкую лужу – совершенно черную. «Бедный ботинок... – рассеянно отметила я, совсем другим озабоченная. – А впрочем, и хорошо: это ж додуматься надо – купить себе такие канареечные ботинки! А еще художник!» – и напрочь забыла об этом. Оказывается, только на шесть лет.

С невнятным криком я прыгнула к дивану и, пренебрегая естественной брезгливостью, рванула сальное одеяло со спящего прочь.

На этот раз серое закономерно – поросшее густой щетиной, вдоль и поперек раскроенное морщинами лицо запрокинулось, оскалившись; в оскале не хватало чего-то ужасного – и только через секунду я догадалась, что все верхние передние зубы, когда-то оранжевые, теперь отсутствуют, что удивительным образом смягчает лицо, вместо того, чтобы поставить в уродстве последнюю точку.

- Гоша... – выдавила я и поперхнулась.

Но сердце постепенно успокаивалось. Я вновь отступила на шаг: нужно было очень быстро решать, что делать дальше. Мысли, как костяшки на счетах, защелкали четко и звонко: «Спился вконец; а чему удивляться – он же к тому и шел семимильными шагами; значит, помощи ждать не приходится... А почему, собственно? Если он паспорт не пропил то вещи в ломбард вполне сможет заложить – в моем присутствии. Когда протрезвеет. А квитанции, да и паспорт его в придачу, я заберу с собой, чтоб не вышло проблем с выкупом. Сейчас, в любом случае, толку от него не получится – до утра, по крайней мере, так что трогать его незачем, пусть проспится. Мне здесь находиться абсолютно безопасно – ни одна собака не догадается, где меня искать. Поэтому я сейчас входную дверь запру, дверь на крышу открою, пусть проветривается. А сама буду сидеть вон на том стуле у окна, чтоб не так воняло. Когда проснется и очухается – как миленький сделает все, что я скажу...».

Ни капли жалости и сочувствия к несчастному во мне не обнаружилось: найди я в таком состоянии даже некогда любимого человека – и то... «А если б это был Илья?!» – ожгла меня страшная мысль – и ответ пришел сам собой: «Да я бы в ту же секунду его разлюбила!». Можно было и ужаснуться подобным мыслям, да положение мое не располагало к самокопанию... Я решительно отправилась к французскому окну, даже не позаботившись накрыть Гошу его кошмарным одеялом, – и была остановлена внезапно донесшимся сзади хриплым гугнивым выкриком: «Сима!». Я обернулась. Гоша уже не спал, как минуту назад, а непостижимым образом успел сесть на своем диване, опираясь на руки. Томный свет вечера перед ясной белой ночью безжалостно выхватил из полумрака его лицо – оно стало еще безобразней и выражало глупое изумление. Из дырки под носом сипло прошелестело:

- Я до чертей... допился... или это... действительно... ты...

- До чертей, – жестоко подтвердила я.

- А-а... Так я и думал ... – серьезно отнесся Гоша к моему сообщению и, уже сердечно приняв факт, что беседует с демоном-суккубом, доверительно поведал ему: – А то, понимаешь, она-то придти не может... Ну, не придет она никогда... В смысле, Сима...

- Гоша, пожалуйста, поднимайся, раз проснулся, – перешла я сразу к делу, сообразив, что, раз в городе полно круглосуточных ломбардов, то покончить с проблемой денег и общением с Гошей можно в течение часа. – Мне нужна твоя помощь, у меня большие проблемы.

- У кого проблемы... у тебя? – искренне изумился Гоша. – А я думал, ты пришла... пришел... того – мои решать...

Я внимательно посмотрела на него, и легкая дрожь прошла по всему телу: мне стало ясно, что этот человек совершенно уверен, что беседует с чертом или, в крайнем случае, очень живой галлюцинацией – и не трясется при этом от страха, а пытается вести чуть ли не светскую беседу.

Я пересекла комнату в обратном направлении – к дивану, и остановилась в двух шагах:

- Гоша! – призвала я громко. – Смотри: это действительно я.

- Да вижу я, вижу, – успокоил он.

- Я имею в виду – Сима, – для верности уточнила я и, как оказалось, не зря.

- А вот это ты врешь... Сима не могла... – твердо держался своего убеждения Гоша.

- Идиот! – взвизгнула я, не выдержав. – Посмотри на меня внимательней! Я что, уже правда на черта похожа стала?!

После моего визга наступила тишина. И в этой тишине Гоша начал медленно и отчего-то беззвучно подниматься, не спуская с меня глаз. Вскоре он оказался сидящим на диване на коленях, и внимательно, по сантиметру передвигая взгляд, принялся изучать мою персону с макушки до кончиков тапок. Я не препятствовала, надеясь, что сознание его медленно прояснится после пьяного сна. Наконец Гоша вынес вердикт:

- Ты не Сима.

Еще не легче. Ведь человеку, допившемуся до чертей, ничего не втолкуешь.

- А кто же, по-твоему? – спросила я безнадежно.

- На вид – Сима. А внутри – нет, – спокойно объяснил Гоша, и, смутно почувствовав в его словах какую-то отчаянную правду, я согласилась:

- Правильно. Но ты мне поможешь?

- Пойдем, – и Гоша начал неуверенно выбираться из того объекта, который, верно, теперь назывался у него постелью.

Через полминуты он худо-бедно утвердился на ногах, отчаянно воняя густым старым и новым потом, а также перегаром. Одет он был в штаны, утратившие право именоваться джинсами, и пятнистую фланелевую фуфайку, бывшую раньше, скорей всего, предметом зимнего нижнего белья, но возведенную в новый высокий ранг повседневной одежды. Передо мной стоял классический бомж, показаться с которым на улице казалось немислимым... Впрочем, так ли уж немислимым? Я непредвзято прошлась внутренним взором по своему туалету и пришла к выводу, что еще ночка-другая без переодеваний – и мы с Гошей окажемся вполне гармоничной парой... Между тем, Гоша важно прошествовал мимо меня к двери. Я провожала его взглядом, сбита с толку неожиданным поворотом сценария. Приобернувшись, он пригласительно кивнул:

- Ну, чего стоим?

- Куда? – только и смогла спросить я.

- Ты помочь просила, разве нет? – Гоша, казалось, уже прекрасно решил всю проблему, более того, взвалил на себя трудную и неблагодарную роль лидера.

- Но ведь ты же не знаешь еще! – нашла силы выкрикнуть я.

- Так ведь ты скажешь.

- Да, но мне нужно, чтоб ты взял паспорт! – с тупым отчаяньем, уже не надеясь, что он адекватно воспринимает происходящее, выкрикнула я.

- Да со мной он всегда, – Гошина рука произвольно потянулась к бедру, и я с облегчением сообразила, что паспорт покоится в довольно глубоком переднем кармане

джинсов под прикрытием фуфайки. – Без него теперь вообще хоть не выходи: менты жизни не дадут.

- Тогда пойдем! – подхватила я с энтузиазмом. – Может, и метро еще открыто!

Гоша проигнорировал лифт, и в полном молчании мы стали спускаться по лестнице. Наверное, и я к тому времени уже не вполне поспевала мыслями за стремительно менявшимися событиями, потому что находила очень естественным, что джентльмен такого вида, как Гоша, в сопровождении леди почти под стать себе, явится ночью в ломбард сдавать пригоршню золота – и окружающие воспримут происходящее вполне одобрительно.

Но напугать людей в ту ночь нам было не суждено: когда мы оказались на улице, и в лицо ударил влажный аромат очередной неповторимой питерской ночи, Гоша приостановился и несколько раз глубоко вздохнул. Кругом, несмотря на относительно ранний – двенадцатый – час, не было ни души. Я тоже жадно вбирала в себя легкий воздух, и каждый вздох рассеивал смрадный туман в моей голове. Неожиданно, в тот момент, когда я уж совсем было получила облегчение, Гоша рывком схватил меня за кисть. Я вскрикнула, вырываясь, но он насильно притянул меня к себе. В нос мне опять ударила тухлая вонь из его пасти, на этот раз принеся с собой хриплый шепот:

- Т-сс... Слушай...

Я молча выдиралась, отворачивая лицо, но тщетно: пришлось перестать дергаться и сделать, что велели. Мучительно прислушавшись, я вдруг поняла! В скверике, начинавшемся как раз напротив, через узкий проулок, наперегонки заливались соловьи. Я не музыкальна; их бульканье и щелканье, по-видимому, благозвучно, но удовольствия торчат часами среди ночи и восторгаться тем, как невидимый самец зовет любую самку спариться с ним, понять не могу.

- Кр-рас-савцы... Ах-х, кр-рас-савцы... – вонючим шепотом умилялся так и не выпустивший моей онемевшей кисти Гоша, – и я опять начала исподволь бороться.

Хватка ослабла, и я потащила свою неоспоримую собственность к себе, но вдруг его пальцы опять железным браслетом сомкнулись у меня на запястье. На этот раз Гоша резко развернул меня к себе, с минуту, нахмурившись, разглядывал, будто только что увидел, и выдохнул – опять мне в лицо, разумеется:

- Си-имка... Ты откуда здесь?..

Час от часу не легче. Свой непринужденный разговор с демоном четверть часа назад Гоша, оказывается, успел намертво позабыть. Ситуация оказалась новой и еще более пикантной: вышел человек ночью соловьев послушать – и вдруг обнаружил, что держит за руку любимую женщину, много лет как из его жизни исчезнувшую... Что в такой ситуации должна говорить эта женщина, я не знала, и потому лишь идиотски повела плечом.

-Да ну-у! Ты – пришла?! Ко мне – пришла?! Сима?! Насовсем?! – посыпались на меня новые интересные вопросы – я едва успевала кивать головой на все и переключиться на мотание при последнем.

Гоша завладел другой моей рукой и слегка отстранил меня, явно любуясь сим чудесным видением и все повторяя:

- Пришла! Вот взяла и пришла! Ко мне! А я знал! Знал ведь, что когда-нибудь... Ну и дела!

И тут, дергаясь и извиваясь, я завопила на всю улицу:

- Опомнись! Я пришла за помощью! Помоги мне! У меня беда, и мне некуда идти! Ну, приди в себя! Ну, опомнись, Гоша!

- Помочь?! – восторженно крикнул он. – Да жизнь мою бери вот прямо сейчас – не жалко!!

И опять я начала слезливо втолковывать ему, что жизнь его мне не нужна, а нужно, чтобы он на свой паспорт сдал в ломбард вот эти жалкие украшения, потому что мне очень нужны деньги, а взять их негде... Но я бы хотела, чтобы перед этим он, если можно, побрился, помылся и переделался, иначе могут решить, что драгоценности краденые и

забрать нас обоих в кутузку, потому что у меня паспорта временно нет. Все это я растолковала ему ясными короткими предложениями, учитывая, что у Гоши, как у явного алкоголика, мозги должны были несколько атрофироваться. Он слушал, напряженно глядя мне в лицо и по-прежнему не выпуская рук, глубоко кивал, медленно опуская и поднимая голову.

- Все сделаю, Сима, все! Все, как ты говоришь! – горячо уверил он, когда я сообщила, что считала нужным, то есть, очень немного; но вдруг глаза его забегали, тревожно ища что-то, и суетливо потирая руки он забормотал: – Только давай сначала отметим... Наше с тобой... так сказать... воссоединение... Устроим праздник! Ты подожди! Завтра пойдем в этот... как его... Все равно уже поздно... А сейчас – отметим! Ах, Симка, Симка! Ты посмотри, какая ночь! Я ведь всегда думал, что ты вернешься именно в такую ночь! Погоди! – и он вдруг рванул куда-то в сторону.

Я поняла, что он искал взглядом: горящую витрину круглосуточного магазина. Отбежав метров на пять, Гоша обернулся и беспокойно крикнул:

- Только ты здесь стой! Никуда не уходи!

На секунду оторопев, я бросилась вслед, намереваясь не допустить задуманного.

Только много позже я представила себе, как выглядела со стороны та сцена: целеустремленными семимильными шагами конченый алкоголик направляется к любимому магазину, а за ним, жалобно мяуча и лепеча, семенит его разнесчастная сожительница, заклинающая хоть сегодня не уступать навязчивому желанию... Я бесповоротно откинула брезгливость и уже без содрогания хватала его за фуфайку, тянула и трясла, хрестоматийно вопя на всю улицу:

- Гоша, не надо! Гоша, вернись! Гоша, давай поговорим серьезно!

Но, находясь в возбужденно-аффективном состоянии, он просто стряхивал меня со своего рукава, как гусеницу, и даже не пытался вникнуть в смысл моих слов, истово повторяя свое:

- Пир закатим, Симка! Петь будем! Помнишь, как тогда пели? Потому что я всегда знал! Всегда! Что ты – оценишь! Что придешь, когда поймешь, что никто, кроме меня! И ты – пришла! И теперь я тебя не отпущу! Никогда и никуда! Как за каменной стеной будешь!

Мне бы понять в те минуты другое – что ничего путного с этим человеком сотворить невозможно, как и просто дождаться периода его хотя бы относительной вменяемости. Развернуться бы и уйти... Но – куда? Отсутствие альтернативного плана действий на случай очередного провала крепко держало меня, словно на цепи, рядом с обезумевшим пьяницей: вопреки логике, я еще надеялась, что хоть завтра можно будет подвинуть его на какие-либо осмысленные действия...

В магазине выяснилось, что в карманах у Гоши не только замызганный паспорт, но и непонятно откуда добытые им скомканные сотенные бумажки, которые он вдруг начал смешливо швырять в продавщицу – я к тому времени уже забилась в дальний угол, чтоб не до конца опозориться. Когда веселый переброс денежными шариками закончился, Гоша вернулся ко мне с сумкой, куда, как я прекрасно разглядела из своего угла, ему упаковали литровую бутылку водки с двумя белыми стаканчиками, буханку черного хлеба, банку огурцов и несколько разноцветных мясных и рыбных нарезок.

- Скорей пошли, скорей! – алчно торопил Гоша, и мы вновь оказались на пустынной улице – и, должно быть, если остановиться, то все еще можно было услышать, как надрываются в скверике соловьи.

Но, к моему новому испугу, Гошу повело в сторону, прямо противоположную его дому. Я опять порывалась повиснуть на нем и трагически вопрошала о конечной цели нашего путешествия. Впрочем, вскоре я все поняла и сама, обнаружив, что мы поспешаем вдоль забора ЦПКО – или Приморского Парка Победы – всю жизнь прожив в Петербурге, я так и не перестала путать, где что находится. За оградой переливались в знаменитом перламутровом свете неподвижные деревья, и мелькали там и сям излишне, на мой взгляд,

раскованные фигуры гуляющих – притом, что парк давно уже должен был закрыться. Так оно и было, конечно, но у места, где два чугунных прута ограды были выкорчеваны могучей рукой варвара, образовав внушительный лаз, Гоша сделал несколько извивов всем телом и вмиг оказался за забором. Так и не сумевшая избавиться от своей невидимой привязи, я неожиданно ловко протиснулась следом – и мои ноги в матерчатых тапках сразу же оказались по щиколотку в мокрой от росы траве. Гоша, к тому времени пришедший в совсем уж неопикуемый восторг, ломился по газонам в только ему известном направлении сквозь кусты – как молодой лось, издавая трубные звуки, оповещавшие о брачном периоде. С привычными стонами: «Гоша, Гоша!» я следовала за ним по проторенному, верней, проломленному пути – с насквозь, конечно, мокрыми ногами...

Неожиданно впереди блеснуло жемчужное небо, только почему-то внизу.

Не сразу я догадалась, что перед нами – вода, но через несколько скачков мы оказались на песчаном пляже небольшого озера. Гоша бросил в мягкий песок сумку, с продуктами, предназначенными для нашего семейного пикника, и, раскинув руки, закружился в дикарской пляске, изумительно высоко вскидывая длинные ноги и громко, с удовольствием ухая на весь парк. Потом неопределенные звуки перешли в ритмичное, в ладу с подскоками, скандирование: «Си-ма, Си-ма, Си-ма!». Единственный зритель и слушатель стоял в столбняке и смутно хотел лишь одного: очень быстро оказаться где-нибудь не здесь. Несколько минут спустя Гоша выдохся, оказавшись в этот момент как раз рядом со своим брошенным пакетом. С виноватым возгласом: «Ой, да что ж это я!» он плюхнулся прямо в песок, запустил в пакет руки и извлек литровую бутылку со стаканчиками. Стаканчики он утвердил рядышком все в том же песке и одним профессиональным движением сдернул золотистую крышечку с бутылки. В этот миг я расколдовалась, и с воплем: «Не смей, придурок!!» бросилась вырывать бутылку у Гоши из рук. Он глянул озадаченно:

- Ты чего, Сим? А отметить?

Я тихонько застонала: пускаться в любые объяснения было решительно бесполезно – тем более, вдруг огоршить его сообщением, что отмечать, собственно, нечего. Вместо этого я глупо поинтересовалась:

- Гош, а ты хоть помнишь, о чем я тебя полчаса назад просила?

- А о чем? – искренне изумился он.

- Ну, умыться, одеться, сходить со мной в ломбард, – терпеливо объяснила я. – Добыть для меня денег...

- А зачем? Что мы, так не проживем? – полный светлого оптимизма Гоша, все еще мыслил другими категориями, рисуя в мечтах нашу безоблачную совместную жизнь.

Мне тоже захотелось посидеть в песочке, но я передумала: лучше убираться отсюда подобру-поздорову, пока еще не глубокая ночь, и есть надежда добраться... до чего? В любом случае, чтобы это решить, я должна остаться одна! А между тем Гоша уже спокойно допил второй стаканчик водки и налил себе третий, не обращая никакого внимания на закуску. Поймав мой взгляд, он спохватился и приподнял посуду:

- За нас! – и тут же проглотил третью дозу.

«Господи, это три раза по сто пятьдесят, и сейчас еще одну сейчас хлопнет... Больше пол литра в минуту!» – похолодела я, наблюдая за процессом и неосознанно отступая. Четвертую Гоша убрал также непринужденно и уставился на меня:

- А ты, Сим, чего? Давай-ка, садись, хозяйничай...

- Гош, я лучше пойду, – смертельно испуганная, выдавила я. – Мне тут еще надо...

- Не по-онял... – Гошин голос, донесшийся из переменно-хрустального марева, содержал явную ноту угрозы.

У меня перехватило дыхание, и я продолжала молча пятиться.

- Ты чего это, а? Задумала что? Куда это ты пойдешь? Ночью? – его голос, пять минут назад хотя и безумный, но трезвый, теперь звучал не как у просто подвыпившего человека, но как у пьяного в дым.

Мне бы побежать прочь, чем быстрее, тем лучше, но я как-то никогда не умела этого делать, а пока тратила секунды на размышления, Гоша медленно встал и странно твердым шагом двинулся в мою сторону – а я еще, как всегда вовремя, оступилась.

- Куда это ты собралась? – грозно повторил Гоша свой вопрос, на который у меня честно не было ответа.

Я позорно задрожала – и не зря: в тот же миг герой-любовник бесцеремонно сгреб меня в объятия – и мгновенно поднявшаяся тошнота перебила мои эксцентрические обонятельные ощущения.

- Я те покажу... – бубнил он, мусоля густой вязкой слюной мне лицо и шею: очевидно, полагал, что устраивает эротическую прелюдию. – Пришла... Явилась... Осчастливила... И на попятную... А меня опять мордой в грязь... Кушай, мол... Нет, Сима, не пушу... Теперь – моя... Навсегда – моя... – он сопел уже совсем недвусмысленно, и две лапы зашарили по голому телу у меня под кофтой!

Я рванулась и оттолкнула его, вложив в рывок и толчок все свои скромные силы. Гоша действительно мягко спланировал куда-то назад, но и я не удержала равновесия и грянулась в песок – очень неудачно, на собственную подогнутую ногу. Начала копошиться, подымаясь, но Гоша оказался проворнее – и с гуканьем прыгнул на меня – слегка, правда, промахнувшись. Я увертывалась, отплевывалась и лягалась; он цеплялся, пытаясь опрокинуть меня на спину или, хотя бы заломить мне руки – и так мы кувыркались и барахтались в грязном песке, причем эпитеты типа «сука» и «шалава», услышанные мною от моего Ромео, были самыми невинными. Не соображая, что делаю, я наотмашь ударила ненавистную харю – и тотчас же получила сокрушительный удар каменным кулаком в челюсть, прекрасно расслышав, как хрустнула кость, и ощутив вкус теплой крови, мгновенно заполнившей рот. Боль милостиво явилась лишь через несколько секунд, дав мне возможность этой густой кровью, содержащей и мой родной коренной зуб, яростно харкнуть в физиономию обидчика. К тому времени мы дошли до стадии драки «не на живот, а на смерть», и быть бы кому-то из нас убитым, если б теплая кровь некогда любимой женщины, плеснувшая в лицо, вмиг не отрезвила этого бывшего мужчину... Хватка его разжалась, и он отвалился в сторону, хрипло дыша и опираясь на локоть; взгляд постепенно приобретал подобие осмысленности. Но тут яркая, неприличная, нечеловеческая боль настигла – и обрушилась на меня. Схватившись за лицо, я свернулась в большого эмбриона и начала с воем кататься по песку. Кровь толчками била изо рта. Подобного ужаса я до того момента в жизни не знала – и все истошней вопила, считая, что пришел мой конец. Не знаю, сколько это продолжалась, но вдруг я снова обнаружила себя нова у Гоши в объятиях. Только это были другие уже объятия – он осторожно приподнимал меня за плечи левой рукой, а правой подносил к моему беспрерывно исторгавшему кровь рту стаканчик, полный до краев...

- Симочка, ты выпей, ласточка, – почти нежно лопотал он. – Ну прости меня, прости, не сдержался, дурак... Думал, ты действительно уйти хочешь... А куда ж тебе идти-то от меня? Кто тебе еще нужен? Ну, давай, глотни, глотни, детка... Во-от, молодец... – я действительно сделала добрый глоток мерзкой дешевой водки пополам с кровью. – А теперь прополощи дырку от зуба... Чтоб не было инфекции. Ну, давай, вот та-ак...

Дура, я послушалась его совета... В то же мгновение свирепая, ни на что в мире не похожая боль рванула все мое существо. Перед глазами спасительно потемнело, и я низринулась головой вперед в мягкую пучину благодатного обморока. Когда я открыла глаза, моя голова лежала у Гоши на коленях и кружилась. Я закрыла их вновь и напряглась, силясь сообразить, что происходит вокруг. Во-первых, мне было тепло и уютно, откуда-то призрачно доносился ускользящий запах духов. Я бы узнала его из сотен похожих – «Мадемуазель Коко». Тупо ныла левая сторона лица, но Гошины руки тихо перебирали мне волосы. И еще, я слышала странные звуки, как-то по-особенному сливавшиеся, и догадалась, что Гоша напевает. Я с усилием прислушалась:

Счастье – и мечтать нельзя:
Вечером вдвоем
Оба – близкие друзья
Рядышком пойдем.
Коль слова не родились –
Лучше помолчим:
Унесемся мыслью ввысь
Пропадем в ночи...

Я вспомнила: песенку эту¹ не раз мы певали дуэтом, мирно работая бок о бок в его мастерской – в ту весну, единственную и далекую, когда меня по-настоящему любили. И, не боясь возвращения боли, я подхватила полушепотом-полустоном:

Полетаем, а потом –
Вон из темноты!
За Дворцовым за мостом
Перейдем на «ты»...

И голоса наши – его, претерпевший необратимые изменения благодаря утере передних зубов и беспробудному пьянству, и мой, пробивающийся сквозь пульсацию слабеющей боли, – вдруг нашли, как дюжину лет назад, тот неповторимый лад, позволявший и петь, и дышать одинаково:

Бог и Вам, и мне судья –
Что теперь гореть?
Сквозь перчатку буду я
Руку Вашу греть...

Потом Гоша рассказал, что когда побежал к озеру за водой, чтоб приводить меня в чувство, то заметил в кустах, подобранных к самой воде, что-то ярко-пестрое. Приподняв ветви, он обнаружил мягкую пушистую кофточку, похищенную, наверное, откуда-то дневным приступом ветра. Он ее, конечно, подобрал, чтоб меня накрыть, она и сохранила отголосок чужого милого запаха... Свою, некогда розовую, а теперь бурую от крови и заскорузлую, я, скомкав, швырнула в те же кусты, и надела дивную обнову. Чудо! Подарки продолжались! На кофточке оказался кармашек, а в нем – маленькая расческа – и я долго наслаждалась вычесыванием из головы песка и небольших колтунчиков. Очень хотелось есть, и еды в наличии имелось, сколько душе угодно, но, боясь разбудить уснувшего пса боли, я не рискнула пихать что-либо в запекшийся кровью рот. Вместо этого я умылась и вернулась туда, где должен был терпеливо ждать под деревом Гоша. На подходе мне показалось, что его там нет. Но выяснилось, что он, не дождавшись меня с омовения, крепко спит, свернувшись калачиком среди редкой травы. Он спал глубоким сном счастливчика с чистой совестью – это стало мне ясно из-за выражения детской доверчивости, которое белая ночь позволила мне рассмотреть в той линии, что вела от уха к подбородку – единственной сохранившейся чистой ребяческой линии на теле этого конченного человека. Какое-то время я бездумно сидела рядом, обняв колени, но постепенно откинулась, устремив взгляд в тускло-молочную высоту. Там пока все было спокойно, и в мое сердце тоже медленно сошел покой, принося оцепенение настрадавшейся за день душе и дремотную слабость истерзанному болью телу...

Но в не уловленный мною момент небо начало постепенно приближаться. Я смутно забеспокоилась, потому что вдруг поняла, что, оказывается, давно поднимаюсь по узкой

¹ Литературный сборник «Корона», Л., 1991, Н. Веселова

горной тропинке, имея над головой совсем другое небо – густо-синее и тяжелое. «Альверна!» – произнес позади чей-то голос, и сердце, отозвавшись, дрогнуло: я знала когда-то это слово, оно было не только значимым, но и душевно дорогим – но опять я не могла дотянуться. Гора то мирно цвела небывалыми знойными растениями, то вдруг являла мрачные расселины, веявшие холодом вечных льдов и заведомо не имеющие дна, – а я упорно шла вверх. Это было вовсе не тяжело, а тревожно и любопытно: я будто только что знала, а теперь лишь ненадолго забыла конечную цель своего подъема – только помнила, что ждет меня встреча с кем-то невероятно близким и нужным. Вдруг тропа кончилась, и я остановилась. Прямо под ногами зияла холодная черная пропасть с базальтовыми отвесными стенами, безвозвратно поглощавшими солнечный свет. Поваленное дерево служило мостом на ту сторону, и обломанные сверху ветви, кое-где содранная кора, даже присохшие комочки земли – все свидетельствовало о том, что находились бестрепетные смельчаки, не однажды проходившие над пропастью туда и обратно. И я знала, что мне следует повторить их подвиг, потому что именно там, за пропастью, и ждет меня тот, к кому я так мучительно стремилась. Я зажмурилась и увидела узкий лаз в небольшую пещеру среди скал, а на пороге, щуря распухшие слезящиеся глаза, сидел невозможно худой человек в ветхом балахоне. Разглядывая что-то на своей костлявой ладони, он ласково улыбался и бормотал непонятные слова на очень музыкальном, неповторимо певучем языке. Язык снова был мне незнаком, но тот же, кто сообщил мне раньше, как я поняла, имя горы – он и перевел ненавязчиво: «Пой, брат мой, пой, хвали Господа радостным криком...» Я еще крепче зажмурилась, и мне удалось разглядеть «брата»: это был кузнецик, смиренно сидящий на узкой смуглой ладони – и я почти вспомнила! Вот сейчас! – и я бесстрашно бросилась на перекинутый над пропастью ствол, помчалась по нему не задумываясь, но вдруг, обеими стопами почувствовав его ужасающую ненадежность, замерла, охваченная ужасом – и заскользила, заваливаясь вбок, в насмешливо разинутую скользкую пасть расселины. Адский холод и мрак охватили меня и повлекли вниз – задохнувшуюся от беспредельного ужаса, беззвучно воющую – и вдруг яркий свет опять ударил в глаза.

...Я лежу на левом боку на обрывающемся сердце, мокрая от ледяного пота. Солнце – да, именно солнце – безжалостно палит правую щеку. Я не одна: спиной ко мне лежит кто-то, к кому я крепко прижимаюсь, обхватив рукой. Во всем теле – ломящая, незнакомая боль, и особенно болит лицо. Спина и ноги окоченели от холода, под головой что-то жесткое и колючее. Такого скверного пробуждения в моей стандартно-несчастной жизни я еще не испытывала, но и переходить окончательно к яви не хочется. Я знаю, что, полностью проснувшись, разбужу и какую-то неразрешимую проблему, пока спящую, не успеваю на этот раз догнать меня. Вот единственно приятное ощущение: материнская ласка солнца на правой щеке, меж тем как левая... Я подскакиваю мгновенно, словно снизу вылезла мощная рука и подкинула меня, как резиновый мячик...

Минуту спустя, задыхаясь и подвывая от боли везде, я бежала прочь, прочь от этого окаянного места и треклятого человека – сквозь мокрые еще кусты в неизвестном направлении, теряя порванные свои тапки, – и инстинкт беглеца привел меня опять к тому же рукотворному лазу, через который я вчера проникла сюда вслед за человеком, любившим меня когда-то давно, в другой жизни. В той, где никто не хотел меня убивать.

* * *

Город просыпался необратимо. Первый, уже опохмелившийся бомж важно обходил свои охотничьи угодья в поисках разбросанных за ночь бутылок. Белой обнаглевшей болонке удалось одной ей известными приемами извлечь из постели несчастную пожилую хозяйку, повинную лишь в том, что пару лет назад польстилась взять в дом хорошенького щеночка «с глазками-бусинками», и теперь вынужденную ежеутренне прерывать свой и

без того беспокойный сон по капризам истеричной визгливой шавки. Поливальная машина почему-то не поливает, зато шустро вращает сухой щеткой, вздымая клубы успевшей за ночь плотно улечься пыли. Мужичок в до пупа расстегнутой «адидаске» целенаправленно рысит к круглосуточному киоску – и спешка его понятна любому не иностранцу. Кудрявая, совсем молоденькая девочка, чья строгая мама до сих пор убеждена, что прилежная дочь всю ночь готовилась к экзамену дома у подружки, выбежала из подъезда и с робкой надеждой оглядывается на окно только что покинутой комнаты – но нет, не шевелится занавеска, никто не шлет ей воздушных поцелуев, и, украдкой вздохнув, юная преступница припускает к отчому дому уже не оборачиваясь.

За каждым окном – своя утренняя драма: хорошо, если выдернутые из теплой постели люди просто молча одеваются, занимаясь десятками дурацких, но необходимых дел, а не кидаются с недосыпу на ближнего, обвиняя именно его в вечно не удающейся жизни... Кто-то хмуро варит кофе, иной с утра пораньше привычно борется с головной болью, третий, зевая и ежась, все-таки любовно готовит завтрак для другого, любви не достойного, раз равнодушно согласился с физической пыткой ближнего... Еще двое с новыми силами продолжают с вечера затеянную, но до благополучного исхода не доведенную разборку – причем под указанным исходом каждый подразумевает сой шкурный интерес. Но есть где-то и счастливики, только укладывающиеся спать – дописав главу, приняв роды, передав смену у доменной печи... Оживают и вещи, а раньше всех – радиоприемники – скабресными голосами ди-джеев, вслед за ними являют намеренно неславянские лица цветные и очень немногочисленные черно-белые экраны... Это утро уже набирает полный ход, разгоняясь для плавного перетека в рабочий день...

В одном районном отделении милиции по ступенькам ко входу одновременно поднимались двое: невысокая брюнетка в пестрой пушистой кофточке, черной юбке и леопардовых тапочках без задников и помпонов – и восемнадцатилетний практикант по имени Егор. Будучи «жаворонком», он благополучно выспался и прекрасно себя чувствовал в свежоутюженной серой форме, при погонах, сообщавших гражданам, что он не какой-то там рядовой мент, а курсант Академии... У самой двери женщина чуть притормозила в раздумье, и курсант невольно нагнал ее, зайдя слева. Взглянув – мгновенно узнал и переменился в лице. Оба затоптались на пороге, пытаясь принять быстрое решение – каждый свое. Но юный милиционер сориентировался первым:

- Извините... Но... если вы с прежней проблемой, то это... бесполезно.

Женщина стремительно обернулась к нему и зло отчеканила:

- И что? Мне теперь следует заявить, когда меня убьют? Так прикажете вас понимать, товарищ курсант?

В ответ на женщину глянули удивительно чистые, лет на двести опоздавшие в этот мир глаза. Еще не вполне мужской, но твердый голос прозвучал дружелюбно и успокаивающе:

- Ну, зачем так сразу? Просто не входите, а подождите меня... ну, вон на тех качелях, что ли... Я сейчас от начальства отбоярюсь и вернусь к вам.

Ее брови недоверчиво вскинулись:

- Зачем?

Он улыбнулся:

- Сделать, что вы тогда просили: например, помочь вам попасть в квартиру и убедиться, что там все в порядке.

- А если нет? – мрачно настаивала она.

- Ну, если нет... – протянул юноша с таким видом, словно хотел сказать: «Ну, уж такого-то случиться не может!» – и почти рассмеялся: – Что ж, тогда помочь вам собрать вещи и подыскать убежище, пока я не найду этого негодяя, – он нахмурился. – И того, другого, который недавно ударил вас по лицу.

- Этого искать не надо. Это один мой друг. Я его вчера попросила о помощи.

- И получили в зубы.

Она поколебалась и тоже улыбнулась, насколько позволяла сиреневая опухоль на челюсти. Егор шагнул к женщине, желая заглянуть в глаза, подбодрить. Думал, она ответит их, застесняется своей избитости – но нет, глянула прямо и открыто, как он любил:

- Вы – правда мне поможете?

- Если Господь сподобит, – ответил он с детства привычным, но застеснялся вдруг сам и нырнул в дверь, кивнув напоследок в сторону качелей...

Глава 5 Счастье рядом

Господь даст глагол благовествующим силою мноюю.

Пс.67, ст. 12

Когда Егорка, посторонившись, пропустил Симу в квартиру, я тотчас узнала ее. Нет, раньше мы никогда не встречались – просто я почувствовала существо одной со мной породы. Жаль, что нет у нас, людей, гордо именуемых (или именованных, как я) себя красивым словом «богема» тайного пароля – устного или знакового. Еще с женщиной той не поздоровавшись, я уже знала, что выкинь я какую-нибудь условную «комбинацию из трех пальцев» – и она отозвалась бы с инстинктивной готовностью. Передо мной была я до метаморфозы, даже выражение лица легко узнаваемое: мое, то, не такое уж и давнее. Жил-жил человек, имел понятия, систему ценностей – и оттого был в себе уверен, пожалуй, даже настолько, что и других учить чувствовал силу... И вдруг – как получил с размаху под ребра! Только продышался, разогнулся – а ему в нос с размаху. Юшку размазал, оглядываться стал – кто ж, мол, такой жестокий – и схватил в поддых... А ведь когда в поддых бьют – инстинктивно на колени валишься. Такое лицо у нее и было: привыкшее носить гордое выражение самодостаточности (слово-то какое страшное) – и не полностью его утратившее. Только поверх легла печать безграничного удивления: как это – меня? Кругом столько всякого быдла, которое и большего вполне заслуживает, – почему же именно меня?

Вот она вошла и села на предложенный Егоркой стул, едва здороваясь и почти дико озираясь. Дети мои, обычно классической тройкой – коренным Колей с пристяжными Машей и Дашей – налетавшие на любого вновь прибывшего, сразу нутром почуяли грозное неблагополучие духа – и удалились с опаской, косясь на Егора в ожидании того или другого сигнала...

Я шагнула к Симе со словами обычного радушия хозяйки, выслушав вежливые извинения – все по правилам.

- Мама, – с всегдашним спокойствием доложил мой старший сын. – Симу хотят убить, и поэтому она пока у нас поживет.

Я почти не удивилась, но вдруг почувствовала смутный страх. Впрочем, секунды прозрения бывают не только у прозорливцев. Я откуда-то сразу узнала, что она принесет в мою жизнь что-то ужасное. Настолько невысказанное и непредставимое, что с той минуты мне стало тяжело находиться рядом с ней... Такие настроения называются искушениями, и каждый христианин обязан преодолевать их. Я не знала – как, мне требовалась помощь.

- Иртыш! – крикнула я.

Славный наш пес, немецкая овчарка, четыре года назад лично мною с рожка выкормленный, явился мгновенно и бесшумно, устремил янтарный взгляд на меня, перевел на Егора. Я потрепала его по теплой шерстяной шее и подтолкнула к Симе, надеясь доброй шуткой разрядить собственное настроение.

- Тогда вот вам, Серафима, охрана. Пока Иртыш рядом, вас никто не убьет, это совершенно точно...

Она улыбнулась:

- Какой красивый...

Мне понравилось, что не стала спрашивать, как большинство: «А он не укусит?». Впрочем, это как раз и доказывало ту несокрушимую уверенность в себе, которую даже чрезвычайные обстоятельства не выбили: если, мол, уж люди не убили, то что мне какая-то собака... Бедняга, как жалко она выглядела в этом своем стремлении «не раскукситься», «не подать виду», «держаться в руках»... Насколько естественней было бы ей сейчас расплакаться, в открытую попросить о помощи – потому что пропала ведь и знала это! И я бы напоила ее чаем, и отвела в ванную умыться лицо, и халатик бы дала переодеться, и расспросила бы кто да что...

Но я знала, что ее ни о чем нельзя спрашивать, а проявить жалость – значит попросту оскорбить: она ведь такая – сильная неприступная, все сама знающая, в тягость быть людям ненавидящая и не прощающая тем, к кому обстоятельства бросили в зависимость на пару часов.

Я и сама прошла все это поэтапно, потому так хорошо разбираюсь в оттенках. Она пишет картины, я же писала книги. Писала десять лет, да так успешно, что фамилия моя стала известна среди рафинированных интеллигентов, а однажды – как долго я вспоминала потом этот сладкий миг! – ко мне подошел в метро незнакомый юноша, ухитрившийся узнать мою физиономию по серой фотографии на обороте книжки – и застенчиво попросил автограф.

Я давно и бесповоротно развелась с Егоркиным отцом и гордо растила сына одна, изо всех сил прививая ему благоговение перед искусством вообще, а перед писательством в частности. Я хотела, чтобы сын гордился мной, и достигла этого: зубами прогрызла ход в Союз Писателей, всегда брала Егорку на свои выступления, презентации и прочие мероприятия, где он каждый раз воочию убеждался, что его мать все кругом ценят и уважают, ей воздают почести и одаривают. Кроме того, она красивая, эффектная женщина: у нее нет отбоя от поклонников, так что выбирает она. «Всего этого я достигла – сама – внушала я сыну десяти лет отроду. – У меня никогда не было ни высокопоставленных родственников, ни выгодных знакомств. Я никогда не давала взяток и не торговала собой. Но я добилась всего трудолюбием и упорством в достижении цели. Поставь и ты перед собой цель, трудись ради нее, и достигнешь всего сам. А помощь можно принять... ну разве что от мамы...».

«Я сама!» – взвизгивала я всякий раз и в других обстоятельствах – то отвергая дружескую поддержку, то пренебрегая дельным советом. Особенно если то или другое исходило от мужчины: ни за какие блага, никому из них не дала бы я повода думать, что он хоть в чем-то, хоть на миг значительней меня.

«Я сама!» – приму решение, достану денег, воспитаю сына, решу все проблемы. Точно так же кричит и трехлетняя девочка, желая завязать шнурки, заплести косичку, сварить суп из курицы... За девочкой, кряхтя, превращающей шнурки в перепутанный узел, косичку – в нерасчесываемый колтун, а кипящий суп выливающей, в лучшем случае, на пол, исправляет и убирает мама. Я же не видела ни узлов, ни колтунов, ни пустых кастрюль, искренне считая, что все, мною создаваемое, стоит на самой грани совершенства. Мои книги – самые талантливые, мой сын – самый продвинутый, а я и обсуждению не подлежу, потому что успешно доказала я все могу сама.

Но однажды произошел небольшой проколычок – легко поправимый, как мне казалось. Я завела роман с женатым мужчиной и решила выйти за него замуж. А он все не торопился разводиться с женой, увертывался под разными предлогами, «кормил завтраками»... Вот она оправится от гриппа, вот дом начнут расселять, вот дочка поступит в институт... Я гневалась, но ультиматум ставить не решалась, инстинктивно опасаясь, что его решение может оказаться и не в мою пользу – и тем тяжело ранить мою гордость. Его жена? Но какое значение могли иметь примитивные переживания скучной обывательницы по сравнению с высокими и простым смертным недоступными страданиями бескорыстной служительницы искусства? Но впервые мое до сих пор не подводившее «Я сама!» словно

уперлось в глухую стену – все яснее становилась необходимость чьей-то помощи. Но чьей?! Мне предлагали сходить к бабке и «присушить» – я лишь рассмеялась. Давали телефон «корректора биополя» – я насторожилась: только полный идиот позволит творить над собой или близким человеком что-то непонятное, а потом удивляться, откуда взялся какой-нибудь там рак или СПИД.

- Знаете, к кому ходите? – посоветовали однажды. – К Ксении Блаженной. Часовня есть на Смоленском кладбище, полгорода туда ездит. Она мало того, что покровительница Петербурга, так у нее еще и особая, так сказать, узкая специализация: устраивать браки... Это, конечно, если вы в Бога верите.

- Верю, – не колеблясь, ответила я и сказала правду, рассуждая так: если столько великих, уважаемых мной людей открыто заявляли, что верят, писали об этом и даже сносили за время оно гонения за веру – то что я, глупей их, что ли? Более того, я ходила в церковь на Пасху и очень любила Крестный ход – правда после него никогда в храм, битком набитый, не протискивалась; всю неделю перед Пасхой я принципиально не ела мяса, что со знанием дела советовала всем окружающим, благодаря чему в кругу друзей слыла глубоко религиозным человеком.

- А как ее попросить? – поинтересовалась я: предложение исходило от другой служительницы муз и, стало быть, заслуживало доверия.

- Очень просто. Придете в часовню, подадите записку на молебен о здравии – вашем и жениха. Потом встанете в очередь и приложите к надгробию ее усыпальницы...

- Приложусь – это как? Лбом? Или рукой?

- Да поцелуете – это и называется «приложиться» – и попросите про себя, мол, святая Ксения, сделай так, чтоб раб Божий – как там его – на мне женился. И свечку не забудьте поставить, – просветила умудренная женщина.

- И все? – усомнилась я. – И поможет?

- Обязательно!

Назавтра, вновь не дождавшись накануне от любимого никаких конкретных обещаний, я с раннего утра побежала по холодку прямо на Смоленское кладбище...

Любопытно оглядываться назад, отыскивая в прошлом дни-вехи. Вспоминать, как начинался какой-нибудь обычный день, принесший в жизнь перемену... Когда, ничего не подозревая, завтракаешь, отправляешь ребенка в школу, несешься в магазин, озабоченная тем, чтоб успеть купить и сварить, – или с таким же усердием занимаешься другими, оказывается, лишними делами, потому что не знаешь, что... Что сегодня река-жизнь уже потечет по другому руслу, заботливо или, наоборот, безжалостно кем-то проложенному... Так и в то утро – я вышла из метро, купив по дороге новый номер яркого дамского журнала. Я не знала, что очень скоро мне придется несколько раз изучить его от корки до корки, не имея больше вообще ничего для чтения. Потом свернула со Среднего на требуемую линию, решив в кои-то веки прогуляться для здоровья пешком... И думала – как превозмочь естественную брезгливость и прикоснуться губами к камню, измусоленному до меня сотнями мерзких слюнявых губ. Ну, нечего, я преодолею, попрошу, и, может быть, уже сегодня вечером он придет и скажет... Могла ли я вообразить, что в этой жизни больше не увижу «любимого» – никогда?

Дело в том, что у самого входа на кладбище я попала под машину. Ну, может, это громко сказано: просто легковая и микроавтобус пытались неуклюже разминуться – а я их обходила. Они разъехались секундой раньше, чем я предполагала – и легковуха стукнула меня в бедро бампером – несильно, но достаточно, чтобы я ласточкой пролетела два метра и точно лбом вписалась в поребрик тротуара... «Скорая помощь» увезла меня в кошмарную больницу, где спустя почти сутки я очнулась на каталке в темном коридоре, с грубо перевязанной головой и слипшимися от крови волосами, торчавшими из-под повязки... Голову терзала тупая грызущая боль, а во рту не было ни капли слюны, словно его выстлали наждачной бумагой. При попытке пошевелиться боль ожила потревоженным хищником и запустила когти еще и в левое бедро – там словно провели горячим утюгом. Я

застонала – и тут же в ужасе замолкла, потому что звук моего голоса отдался в голове ударом набата... Обреченная на безмолвие и неподвижность, я впервые почувствовала потребность молиться. «Святая Ксения, помоги мне! – мысленно воззвала я. – Видишь, я до тебя не дошла! Я хотела попросить тебя о любимом, но мне теперь не до того! Ты мне помоги – вот в этом! Чтобы не было – вот так! Потому что я так долго не выдержу! Сделай что-нибудь поскорее! Ну, пожалуйста!». Я боялась плакать, думая, что от этого станет еще хуже, но слезы все равно потекли – обильно, как у крокодила. «Святая Ксения, помоги!» – мысленно выла я. И она помогла.

Далеко сзади скрипнула дверь, и по коридору зазвучали размеренные шаги. Мужские. Врач? Как позвать его, если я не могу даже мычать? Я ожидала, что мужчина, приближавшийся к полю моего зрения, окажется весь в белом, как и подобает врачу, – и тогда я, собрав последние силы, забьюсь и завою, как смогу, привлеку внимание, получу помощь... Но внезапно перед глазами возникла фигура – вся черная! С длинной бородой! Глюк? От неожиданности я замерла, провожая взглядом плывший вдоль каталки призрак, но вдруг меня озарило: священник! Этот хоть воды подаст – обязан! – и я изо всех сил захрипела сухим горлом, задргала здоровой ногой.

Призрак остановился, и надо мной склонилось очень доброе сморщенное лицо. В потемках коридора старик показался мне похожим на моего покойного дедуся, очень любившего и всячески баловавшего свою проказницу-внучку целую вечность назад.

- Дедушка... – прошипела я, вполне отдавая себе отчет, что понять меня теперь не смог бы даже настоящий дедуся. – Пить...

Но этот – понял:

- Сейчас, милая, сейчас...

С быстротой фокусника он поднес к моим губам эмалированную кружку, одновременно приподняв мне голову. Я присосалась к холодному металлическому краю и стала жадно втягивать прохладную осязаемую жизнь.

- А я все хожу тут, хожу, все смотрю и думаю: ну когда ж она в себя придет? Уж и водичкой Крещенской тебя покропил, а сейчас вот к рабу Божьему Сергию – плох он очень – заходил в триста девятую. Стал Ксеньюшке молебен справлять – дай, думаю, и за ту, из коридора, словечко замолвлю... Моли, говорю, Ксеньюшка, Бога нашего и о той болящей рабе его, что без памяти лежит – а уж имя ее Господь и Сам ведает... Иду обратно – а ты уж смотришь. Вот какая скорая помощница наша Ксения...

- Блаженная?! – изумленно оторвалась я от кружки.

- Ну, а то кто? – простодушно ответил дедушка.

- Так ведь это к ней я сегодня... вчера... когда машина эта... прямо у Смоленского... попросить хотела... – все в том же изумлении поведала я с водой пришедшим сиплым голосом, и откинулась на подушку.

- О чем, милая? – спросил у самого моего уха слабый стариковский шепот.

Вроде, положение мое к беседам не располагало, но вдруг давно забытым теплом чужого простого сердца дохнуло на меня, ни от кого не ждавшую поддержки.

- Люблю одного человека. Очень, – честно рассказала я. – А он все тянет и тянет...

Вот я и хотела, чтобы Ксения его поторопила...

- С чем тянет, милая? С признанием? Или с предложением?

- Да нет, дедушка, от жены никак не уходит, – призналась я.

- Не уходит? А-я-яй! – покачал головой священник. – А она у него что же – гулящая?

Или детей бросила? Может, пьет сильно?

Кажется, впервые я слегка смутилась:

- Да нет, она его любит, просто он-то ее – разлюбил... Что ж им теперь вместе делать?

Вот я и пошла к Ксении, чтоб она разобралась... Но не дошла... И осталась без помощи!

Мне отчего-то приятно было говорить так – чуть по-детски, будто действительно внука с дедушкой, позабыв на время о том, что я – известный писатель, красавица, умница

и баловница судьбы: эта гнусная больница ведь так, недоразумение: завтра позвоню, прибегут друзья, увезут в нормальную клинику, снабдят всем необходимым...

- Как тебя зовут, хорошая моя? – услышала я.

- Евгения.

- Так вот, Женечка... Ты теперь об этом много не думай, а то головка будет болеть. Ты потом вспомни – и поймешь: помогла тебе Ксеньюшка. Ты и дойти до нее не успела, а она уже помогла... А сейчас спи, ласточка, постарайся уснуть... Завтра тебя в палату переведут, и я навещать буду... Там и поговорим. А сейчас идти мне нужно: еще одна тяжело болящая тут есть... Не спит, надо думать... – он перекрестил меня. – А ты засыпай, слышишь?

Вот так и познакомилась я со своим первым духовником, отцом Алипием, Царствие ему Небесное. Я оказалась, вероятно, его последним делом на земле: три недели, что я пролежала в той больнице на серых рваных простынях, никому не сообщив о месте своего пребывания, он посвятил моему воцерковлению. Первый накрыл мою голову епитрахилью, из его рук я получила первое в жизни причастие. А через неделю после моей выписки, когда я еще долечивалась дома, батюшка тихо умер после Литургии – прямо в алтаре домово́й церкви при больнице...

Но меня уже было не остановить. С тем же рвением, с каким раньше штурмовала гору под названием «Искусство», я принялась покорять, как мне казалось, гору Духа, круто повернув на служение Христу. По возвращении моего одиннадцатилетнего сына из лагеря, где он как раз отдыхал, пока мною в больнице производилась переоценка ценностей, я сразу же растолковала доверчивому ребенку пагубность пути, на котором мы до этого стояли.

- «Искусство» происходит от слова «искус», – объясняла я в распахнутые навстречу детские, беспредельно верящие мне глазенки. – Это значит – искушать. Нет, ты только вслушайся! В «Отче наш» мы молимся: «не введи нас во искушение» – а писатели и все прочие искусники именно тем и занимаются, что искушают ближних. То есть, соблазняют на грех. Но Сам Господь сказал (я потом тебе прочитаю), что лучше бы тому человеку, через которого приходит соблазн, повесили на шею мельничный жернов (я потом тебе нарисую) и бросили его в море. Вот кто такие писатели: искусители и соблазнители. И я была такой, целых десять лет была. Но теперь отец Алипий показал мне (а значит, и тебе) единственный путь – самый верный, самый нужный...

Вещая так, я сгребала в кучу свои и чужие рукописи, книги с дарственными надписями и партиями таскала их с помощью Егора на близлежащую помойку. Я безжалостно проредила домашнюю библиотеку, отправив в том же направлении большую часть книг, пощадив лишь самую классическую классику. Я выбросила – именно выбросила, а не раздарила, чтоб не ввести кого в новый соблазн, – большинство украшений, а дорогие спрятала. Даже дома я теперь носила платок, и, так как книг больше не писала, а жить на что-то надо было, – устроилась свечницей в храм, где настоятелем был духовный сын о. Алипия... Качество нашей с Егором жизни резко упало; за какой-то месяц мы скатились за грозную черту нищеты. Но мне было радостно: я опять приняла судьбоносное решение – сама! Теперь, думалось мне, я выстою перед любыми трудностями, ведь цель моя не презренная материальная или неприятельно душевная, а нешуточная, высоко духовная: спасти свою и сыновнюю душу.

Я была уверена, что прекрасно знаю, как это делается. Прежде всего, необходимо, невзирая ни на какие капризы погоды или дитяти и прочие соблазны, вроде высокой температуры или подвернутой ноги, идти (а то и ковылять, если речь шла именно о ноге) в «свой» храм, где непременно каждое воскресенье исповедоваться и причащаться – каждый раз с полной подготовкой, разумеется. Вроде бы, грехов особых за собой не видишь – не беда: твердо вбита уверенность, что из всех грешников «первый есть аз» – и всегда под рукой палочка-выручалочка – перечень грехов. Их можно переписывать на бумажку подряд, можно в произвольном порядке – все равно наверняка грешна во всех. Когда

соблюдаешь очередной пост – то лучшее свидетельство твоего усердия – это когда перед глазами начинает периодически мутиться от голода. В таких случаях хорошо вспомнить, а еще действенней – процитировать другим телеграмму матери Иоанна Кронштадтского: «Лучше умереть, чем нарушить пост». Необходимо также дважды в день «вычитывать» – именно этот глагол! – утреннее и вечернее правило, – ну, и еще подавать милостыню: объедки не выбрасывать, а складывать в аккуратные пакетики и выносить для бомжей к помойке.

Позже в той же церкви я встретила и очередного суженого – такого же скороспелого неопита, как и я сама. Мы обвенчались – и прибавились новые серьезные заботы: хранение воскресений, праздников, сред и пятниц, не говоря уже о постах и сплошных седмицах. Отступление от строгого расписания супружеских ласк считалось преступлением против христианской нравственности, ибо, как известно, за нехранение сред и пятниц умирают у супругов дети, а за бездумное соитие под воскресенье жена рискует быть наказана смертью. С момента наступления беременности – а моя была установлена спустя две недели после венчания посредством нехитрого теста – и до окончания кормления детей (у нас родились двойняшки Маша и Даша) я прекратила супружеские отношения под страхом того, что плотская страсть родителей перейдет на детей, физически связанных с матерью то через пуповину, то посредством молока, – в результате чего они имеют все шансы в будущем стать блудницами... Почему муж не бросил меня уже тогда – до сих пор не знаю. Любить – не любил уже, это мне теперь прекрасно понятно: как можно было любить то иссиня-бледное, всегда мрачное существо, одетое и в пир и в мир в одно и то же невзрачное платье, и сверкающее огненным оком на любой духовный беспорядок – настоящий или мнимый – из-под на брови надвинутого платка! На любое, самое скромное притязание мужа существо имело убийственную цитату из «Добротолюбия», которую с чувством обрушивала ему на темя, как суковатую дубину... Но жалел он меня тогда еще, вот что... Один раз только оговорил – да и то мягко. Это когда устал слушать, как жена изо дня в день повторяет: «Слава, Тебе, Господи, что Ты привел нас в Православную церковь! Слава Богу, что мы не живем как эти атеисты и еретики!». Он сказал:

- Примерно то же самое говорил фарисей, стоя в храме рядом с мытарем... Помнишь?

Да, теперь помню, но тогда кинулась терзать. А еще – еще мне хотелось добрать свою женскую долю в отношении детей... Раньше, писательствуя хотя и в известности среди ценителей, но в относительной бедности, я едва могла позволить себе бесппроблемно «поднимать» единственного сына Егора. А теперь, растя Машу и Дашу, не испытывала особых тягот, взвалив скучные и дурно пахнущие неприятности на приглашенную мужем православную няню, а сама снимая лишь сладкие пенки необременительного материнства. Мне было тридцать пять, когда кормление грудью закончилось само собой, и пришлось вновь допустить супруга до тела, к чему особой склонности я не имела никогда. Муж не подозревал о моем коварстве, уверенный, что имея почти взрослого сына и в придачу – пару очаровашек, да и вообще благополучно распроставшись с молодостью, мы о других детях задумываться не должны. Но я уже успела прочно убедить себя в том, что в любые времена нужно рожать столько детей, сколько Бог пошлет, причем препятствовать зачатию, научили меня, – грех еще больший, чем убийство во чреве... Поэтому спустя год у меня родился Коля. Вот только дохаживала я на сей раз мучительную беременность при поддержке подросткового Егора: муж покинул нас на моем шестом месяце. Свой уход он мотивировал для меня тогдашней весьма туманно: «В этом доме нечем дышать». Деньги, правда, всегда давал – исправно и немалые, продолжая, собственно содержать меня со всей моей оравой. Младших навещал, со старшим приятельствовал. Со мной же старался просто не разговаривать.

«Иуда! Предатель! Вероотступник! – напутствовала я уходящего мужа. – Ты не от меня бежишь, а от Бога! Дышать ему, видите ли, нечем – это в нашем-то доме! Да бесы тебя гонят, которые в тебе сидят, потому что благочестия не выдерживают!» – мысль о

том, что из сего приюта непорочности первыми давно сбежали ангелы, мне тогда в голову еще придти не могла.

Я уже знала, что грешно говорить и думать: «Я сама». Что ж, пришлось перефразировать: «С Божьей помощью, я...». Господи, до чего ж милостив Ты был ко мне в те дни! Ведь чтобы смирить настолько закосневшего в гордыне человека, как я, ты мог бы попустить мне какой-либо из страшнейших, смертнейших грехов для вразумления; мог бы низвергнуть в такую бездну падения, что я несколько десятков лет выбиралась бы из нее по отвесному склону; ты мог послать мне или детям болезни – и тем заставить взглянуть на Тебя, а не в готовое пособие по праведной жизни... Но ты смиренно терпел мои дальнейшие псевдоцерковные бесчинства, ожидая моего вольного обращения.

Я же начала с упреков Тебе и дошла почти до отпадения: «Как же это, Господи?! – капризно возмутилась я. – Почему Ты так со мной поступаешь? Я все бросила, как ты и велел, взяла крест и пошла за Тобой. Я выполняла все в точности так, как учил Ты и Твои святые, и кажется, могла ожидать, что Ты примешь мою жертву – а Ты что сделал? Ты вынудил меня родить под старость троих детей, а потом оставил без мужа! Немедленно верни мне все назад, а то я в Тебе разочаруюсь и вообще перестану ходить в церковь: что от нее проку, если Ты поступаешь с точностью до наоборот тому, о чем я тебя там прошу!». Такой примерно ультиматум поставила я Создателю – и будь Богом какой-нибудь Кришна, Будда или Магомет – после этого была бы, вероятно, просто и быстро стерта с лица земли со всеми своими детьми и проблемами. Но наш Господь – Пресвятая Троица скручивает людей в бараний рог для их же блага только тогда, когда они многократно докажут, что не воспринимают никаких других внушений...

Эту историю я рассказала Серафиме поздно вечером, когда распихала детей по постелям, а ее и Егора принялась на кухне кормить и расспрашивать. К тому времени Сима уже не выглядела так затравленно, как когда только переступила порог нашей квартиры: она основательно почистила перышки (залив при этом пол в ванной), а потому сочла возможным и вольно расправить крылья... Да, да, я все больше узнавала ее: она тоже родилась в клане недоступных умников, те же раны лечила на своем бедном сердце, так же горда в своей растерянности, как и я когда-то, и тоже, кажется, готовит какой-то ультиматум...

- Сима, спросила я вкрадчиво, чтоб вполне прояснить для себя ситуацию. – А вот если б у вас сейчас была возможность попросить у кого-то помощи... У любого – живого, мертвого известного или просто вам близкого... У кого бы вы попросили? Только честно...

Два больших усталых серых глаза глянули сквозь влажные еще прядки непослушных темных волос.

- Франциска Ассизского, – прозвучал твердый ответ, причем гостя ни на миг не задумалась, стало быть, этот Франциск сидел в ней крепко.

- Вы – католичка? – озадачила я, безуспешно сопоставляя ее дивное имя с темными сводами костела и «Orem us Damien», произносимым евнуховым голосом падре.

Сима пожалала плечом, хлебнула из чашки:

- Н-нет... Я его просто люблю. Он мне близок, понимаете? Вернее, кажется, я его понимаю... Если бы он был жив, я бы пошла к нему – на карачках поползла! – а так...

- Но он же, вроде, святой... Не наш, правда, но его святость даже Православие не отрицает... А если святой, то мало ли, что умер – ему ведь всегда помолиться можно... – резонно вставил вдруг Егор, деловито кромсая колбасу такими ломтями, что мое сердце заныло: для гостыи ведь колбасу режет, не Иртышу в миску кидать!

Но, во-первых, я ему сто раз это говорила, и, если он не исправился, значит – неисправимо. Во-вторых – уговор наш пятилетней давности – делать ему любые замечания – но без посторонних, никто не отменял до сего дня. А насчет Франциска – это он удачно ввернул: считаешь святым, так отчего бы не помолиться? Но Сима неожиданно и явно удивилась, а потом произнесла дикую фразу, к которой мы с Егором давно должны были привыкнуть, но всегда недоумеваем, услышав:

- Как, Егор, и вы туда же? Мама ваша – понятно, но вы-то?

Егор и секунды не помедлил:

- Это не вам, это мне удивляться нужно! Так допекла жизнь человека – ну почти что до смерти! А он, хоть и Бога не отрицает, а помолиться до сих пор не додумался!

Так резко это прозвучало, что я испугалась: Сима и старше чуть не в два раза, и гостья, и женщина, да еще с норовом, да с каким – стерпит ли? Не начнется ли сейчас у них с Егором перепалка, после которой вместе ничего путного уж не сотворить, а им ни много ни мало – убийцу поймать нужно!

- Хорошо, я, правда, помолюсь ему, – вдруг кротко согласилась Сима. – А вы молитвы какой-нибудь особой не знаете?

Егор схватился за голову и почти заорал на гостью:

- Кому молитву – Франциску Ассизскому?! Если вы не католичка – то что вас к нему несет-то?! У нас что – воих святых нет?! Скорых помощников! Сонма мучеников! Что он вам дался, этот буйнопомешанный итальянец?!

- Что-о? – стала медленно подниматься Сима, не обращая внимания на мои трагические призывы в смысле «Только не ссорьтесь!». – Да он... Да ему... Да ему Иисус являлся! В огненном столпе! Да к нему – серафим с шестью крыльями! А на серафиме – распяты с самим Распятым! Да у него и руки! И ноги! Кровоточили там, где у Христа были раны, да он...

- У половины католиков до сих пор перед Пасхой кровоточат, стигматизация называется, – спел скороговоркой ввернуть мой начитанный сын, но она разве что рукой ему рот не заткнула.

- А как умирал он – вы знаете? Я как раз картину сейчас пишу – Жизнь Франциска... Так там у меня есть сцена его смерти! Он своим ученикам отпустил грехи, а потом, как Спаситель, преломил хлеб, благословил и раздал им...

- Спектакль поставил, – иронически бросил Егор, но Сима, видимо, в запале не услышала – иначе быть бы ему битым.

Она стояла, заносчиво откинув голову с подсыхающими волосами, руки ее широко были раскинуты – вот, мол, какую большую картину пишу – глаза пылали хорошо знакомым мне по прежнему отражению в зеркале экстатическим пламенем.

- Там, в этой сцене у меня на картине, Франциск совсем слабый и больной, лежит на дырявой подстилке, а Леон – любимый его ученик – по подобию святого Иоанна склонил голову к нему на грудь. Хлеб уже разломан на треснувшем глиняном блюде, и святой из последних сил простирает к нему руку, благословляя... Он уже почти умер, плоть изнемогла, обескровлена. Но глаза...

- Что же он вам не поможет, ваш замечательный Франциск, если он такой святой? Попросите получше – авось, явится и шепнет вам на ушко: передай, мол, Егор, что брать надо такого-то...

- Егор! – не выдержала я. – Занимайся своим делом, а в чужую душу не лезь!

Он едва слушал:

- Обидно мне, мама! Обидно! В России сонм новомучеников, больше двух с половиной тысяч только что канонизировали! Семью Царскую! У нас в только в Питере – два столпа: Иоанн Кронштадтский и Ксения Блаженная! Живой святой, Николай Залитский только два года как умер! Что, за нас, русских, заступиться некому? Нет, люди куда угодно смотрят – на Францисков, Далай-лам всяких... А почему? А потому что – как это так? Тут темная бабка стоит в платке, и я, весь из себя такой продвинутый, что – рядом встану? Да ни в жизнь! Ведь у меня же собственное знание, личная философия, куда я все это дену? И вообще, я с Богом на ты и за руку, мне посредники не требуются... И из-за таких вот любителей, верней, любительниц... всяких там Францисков...

- Остановись! – вскочила я. – Ты переходишь границы! Дальше – уже оскорбление!

Все это я крикнула для порядка, внутренне гордясь сыном: не пропали, значит, даром мои материнские усилия по воцерковлению ершистого подростка, не увенчались

банальной теплохладностью, а горит в сердце сына живой огонь веры и жертвенности. Но остановился он не сразу: верный юношескому максимализму, свое – докончил:

- Вы просто в него как в мужчину влюблены, потому что он весь из плоти! Изможденной плоти, требующей женской жалости!

Сима угрожающе наклонилась вперед:

- Да как вы смеете...

Я бросилась между ними:

- Не слушайте его, Сима! Вы же взрослый человек! А он – мальчишка! Не драться же вам! Сима! Сядьте! Пожалуйста!

Она послушалась и села, белая, как фарфор; ноздри раздувались, и скулы ходуном ходили. Что-либо втолковать человеку в таком состоянии принципиально невозможно – я лишь подлила ей кипяточку в чашку и примиряющее предложила:

- Давайте, я вам расскажу из своей жизни. О том, что со мной лично было, а?

Сима вскинулась на миг, но потом неуверенно кивнула – а я задумалась, припоминая, и снова, как и всегда при тех воспоминаниях начиная дрожать мелкой внутренне дрожью...

Сильно, сильно возропнула я в те дни на Бога, почти оставила церковь, даже детей не носила причащать. Грудного Колю не окрестила из злого чувства: Ты от меня мужа отнял, так я Тебе ребенка не отдам! Но уговорила меня бывшая приятельница по церковной общине поехать с ней и еще несколькими верующими в Сибирь, в дальний монастырь, рядом с которым в полузатворе подвизался прозорливый старец иеросхимонах Варфоломей. Говорили, что он людей ни о чем и не спрашивает: если видит, что с суетой приехали, то благословит – и мимо, причем таких – подавляющее большинство оказывается. Зато, если видит, что у человека скорби или соблазны настоящие – то непременно даст дельный совет, причем не прикровенно, в виде притчи, как иные старцы, а напрямик и очень доходчиво.

Случались, правда, инциденты, когда старчик кого-то самолично дубиной охаживал – вроде как грехи выбивал. Были и такие, что вовсе к ним не выходил, хотя по неделям в монастыре ждали – но так и уезжали не солоно хлебавши.

И я решила: ну, думаю, пусть это будет последняя попытка. Если не поможет грозный старец советом или молитвой – то все, хватит моих подвигов. Дети подрастут – и пусть как хотят, а моей ноги в церкви больше не будет. Хорош Бог, нечего сказать: я Ему не рубль мятый, а себя целиком, как Алеша Карамазов, а Он – об стол меня мордой, об стол... Надбавила няне денег, чтоб и за Колькой с помощью Егора присмотрела, благо муж за мой моральный ущерб платил безропотно – да и на самолет...

Из аэропорта до монастыря паломники добирались сначала четыре часа электричкой, потом по лесной дороге в открытом джипе тряслись так долго, что и времени счет потеряли... За рулем сидел монах, похоже, давший обет молчания. Из машины не выходили, а вываливались, стеной на разные лады: все чувствовали себя словно избитые, и ни к кому старцу уже не хотелось. Нам указали на дощатый барак, гордо назвав его странноприимным домом, где скомандовали – мальчики направо, девочки налево. Я первая шагнула в левую дверь и сначала ахнула, а потом инстинктивно зажала нос.

В очень небольшом – примерно восемнадцать квадратных метров – помещении шли по периметру в два этажа грубые нары, на которых без всякого белья, укрытые лишь собственным тряпьем, сидели и лежали паломницы. Иконостас в комнате имелся – как раз напротив двери – а вот окна не наблюдалось. В воздухе стоял тяжелый дух давно не мытой женской плоти, грязных носков и мочи. Последнее потом разъяснилось: общественный туалет для паломников обоего пола находился в значительном удалении, и каждый раз бегать туда, особенно среди ночи, было тяжело, оттого малую нужду по ночам справляли в стеклянные баночки – а с утра под полкой несли их в уборную...

Паломниц было около десяти, старец, как мне сказали, «прихворнул» (относительно настоящего старца это означает, что слег и едва шевелится) и потому несколько дней не принимает, а люди прибывают со своими грехами и скорбями со всей страны.

На нарах еще было, куда потесниться, поэтому нас радушно пригласили. Но, зажав рот ладонью и давась, я уже выскочила вон из здания и помчалась в ту сторону, где за деревьями просвечивала луковица церковного купола. Церковь, по счастью, оказалась открыта, и я лицом к лицу столкнулась с молодым иноком, едва закончившим вечернюю приборку. О только что произошедшей со мной неприятности он прочитал по моему лицу не хуже любого старца – и неожиданно сверкнул настоящей голливудской улыбкой:

- Что, матушка, никак, в странноприимном доме не понравилось?

Я промямлила что-то насчет духоты и своего плохого здоровья.

- А вот я вам сейчас под Спорительницу тулупчик брошу – и спите до Полунощницы.

Она у нас в пять.

Сперва я не до конца поняла его, но, оглядевшись, заметила, что тут и там в храме расположились на сон люди – прямо под иконами. А мне уготовано было место под довольно искусно написанной иконой Богородицы «Спорительница хлебов» – без горячей молитвы у которой, как известно, невозможно получить сколько-нибудь приличный урожай.

Я не заставила себя упрашивать: и лба не перекрестив, повалилась на сальный ватник и ухнула в глубокий, как колодец, и тяжелый, как скала, безблагодатный сон.

Показалось, что в ту же секунду меня толкнули в плечо. Но обнаружилось, что лежу я одна, а остальные стоят, уже готовые слушать Полунощницу. Оставив ватник на произвол судьбы и чувствуя, что голова изменила за ночь свою форму на квадратную, я двинулась к двери, вышла вон и встала на паперти истуканом. Прозрачно холодные утренние сумерки нежаркого и несолнечного лета неподвижно висели над монастырем. Солнце, вероятно, не собиралось в тот день являть себя землянам, но небо белело высоко, не обещая дождя. Свет еще не набрал полной мощи настоящего утра, и потому не слепил глаза после мрака каменной церкви. Я физически поправлялась, как после трудной болезни, и наконец, почувствовала себя в силах сделать несколько шагов. Позади зазвучали мужские голоса, четко читавшие молитвы, и я было хотела присоединиться к молящимся, но передумала, испытав вдруг острую потребность в уединении, и решительно повернула к недалекому лесу, тем более, что местоположения туалета так и не знала.

В лесу звенела особая тишина. И я застала те сокровенные минуты, когда, славя Бога, начали просыпаться птицы, опереженные, правда, монахами, зычно прославлявшими Его в отдалении. Безотчетно я стремилась уйти подальше от человеческих голосов, потому что, слыша их, не ощущала полного одиночества. И вот, настал момент абсолюта, когда только я и пробуждавшийся лес (привыкнув к Питерским пригородам, я как-то не осознавала, что это, собственно, тайга) остались под уже невидимым небом.

Вскоре я обнаружила небольшую полянку с неизвестным деревом посередине, и что-то яркое мелькнуло среди ветвей. Я любопытно приблизилась: икона! Небольшая Богородичная икона укреплена на ветке! Как у обоих Серафимов, несших подвиг столпничества, – но никакого камня поблизости не наблюдалось. В эту минуту где-то в невидимом мне кусочке неба солнце, наверное, глянуло сквозь прореху в облаке, потому что общий цвет воздуха переменился. Краски на иконе словно бы поярчели – и мне пришлось в голову прочесть перед ней утреннее правило – занятие оставленное мною давно, почти сразу после ухода благоверного.

Скинув с плеча рюкзачок, я отыскала там молитвослов, предусмотрительно взятый с собой (чтоб не оказалось вдруг, что у всех есть, а я «забыла дома»), встала перед иконой и неожиданно легко, без преткновений, прочла все до единой утренние молитвы, на что в прежние, «воцерковленные» годы каждое утро понуждала себя изо всех сил.

Тем временем небо местами и вовсе очистилось от облаков, солнечные лучи наискось прошивали лес золотыми нитями, разгоняя промозглую влажность семимильными шагами отступавшей ночи.

Со мною что-то происходило – я даже не сразу поняла, что именно. А оказалось, что это я впервые за полгода в то утро ни на кого не роптала и почти была готова додуматься

даже и до того, что, может быть, в последние годы иногда допускала незначительные ошибки в духовной жизни. Уж совсем я приблизилась к страшному этому пониманию, когда хрустнула по соседству сухая ветка, и я увидела, что неподалеку, у края поляны, стоит пожилой низенький схимник и смотрит на меня большими, совсем не старческими глазами. Один из лучиков солнца как раз порозовил его красивую белоснежную бороду, спрятавшую в себе самую настоящую добрую, располагающую улыбку – из-под схимы, согласитесь, такое увидишь нечасто.

Я сразу почувствовала себя вторгшейся на чужую территорию – хотя лес, вроде бы, общественная собственность, и во мне возникла потребность извиниться.

- Это ваша, наверное, икона, отче? Вы уж простите, я перед ней помолилась, а то мне утреннее правило вычитать негде было... Но я уже уйду, так что пожалуйста.

Монах продолжал улыбаться.

- Там, в странноприимном доме, условий нет молиться, – сочла нужным пояснить я.

- Ну конечно, – подтвердил старик отнюдь не стариковским, а глубоким и сильным голосом. – И другие мешают. Столпятся всем скопом у иконостаса – и ну бубнить каждый свое. А люди-то разные бывают... Иногда и совсем даже неприятные. И рядом-то стоять не хочется...

Впервые за время моего пребывания в Церкви я встретила человека, так точно выразившего мои чувства по отношению к некоторым м-м... сестрам и братьям – чувства, выражать которые среди церковного народа совсем не принято. Я шагнула навстречу старому схимнику с легким сердцем: вот ведь – в великой схиме человек, а какой простой, и рассуждает здраво, и физиономия совсем не постная. Незаметно оказалось, что мы запросто сидим рядышком на поваленном стволе, поросшем сухим мхом.

- Да уж, – поддержала я. – Грязища там и вонища – простите, отче, дышать невозможно. В церкви на полу спать пришлось – да монахи прогнали, когда Полунощница началась.

- А чего приехала-то? Трудничать, или так, посмотреть?

- Да куда там трудничать – четверо детей в Питере оставила... Нет, я к старцу вашему, как его... Варфоломею. Говорят, сильный молитвенник, и дар прозорливости имеет. А то я уже так в своих проблемах запуталась, что не обойтись, кажется, без помощи... А вы как думаете – поможет старец? Действительно ли он такой сильный, как говорят? А то, может, опять прелесть какая? Теперь старцы, прости, Господи, как грибы после дождя повылазили – иди, разбирайся, какой что стяжал, а про кого вообще придумали, – мне легко было запросто разговаривать с этим располагающим человеком, вдобавок, сочувственно кивавшим.

- Да ну, какой он сильный, просто лет ему много. Под сто. Опытный. А так – ничего особенного. Молитвенник ленивый, а постник – так и вовсе никакой, – спокойно и уверенно ответил монах.

Я сокрушенно вздохнула, хлопнув себя по коленям:

- Так я и знала, что напрасно притащилась! Опять фанатиков наслушалась! Одних денег на дорогу сколько ухлопала, а толку чуть...

- Да, фанатики – они такие. Опасный народ, – охотно подержал тему общительный монах. – Нет, чтоб жить, как все добрые люди – а они, знай себе, по церквям бегают, каждую неделю причащаются – и все им мало! А поклонов, бывает, ночью и по тыще кладут, тайком. Это вместо того, чтобы спать-то! Слышал, и здесь, в странноприимном, до утра акафисты поют. Ни сами не спят, ни другим не дают. Не мудрено, что ты от них сбежала, бедняжка... – искренне сочувствовал он.

- Как молятся – не слышала, зато как пахнут – нюхала! – совсем раскрепостившись от его вольного обращения, сообщила я.

- И не говори... Разные люди, разные... А вот от некоторых, наоборот, духами пахнет, приятно так... (Какие у тебя, кстати, не разберу, шинель, что ли?) Эти уж, конечно, тем не чета. Публика чистая, все в сторонку норовят, чтоб спокойно, чтоб не мешал никто,

чтоб самому все, без спешки, аккуратно... Ну а с тех что взять – пусть себе лбы на грязном полу прошибают... А приезжают с чем? С глупостями всякими... А то еще бывает – сами мерзостей натворят, ближних запутают, семью развалят, детям дома одно горе – а они по монастырям, старцев искать, помогите, мол... – словоохотливо делился монах. – А вот еще приедет какая-нибудь краля, думает, самая умная. Всех кругом учит-учит, а они не учатся – тупые, видать... Муж у нее света белого не видит, ласки простой не знает. Только рот откроет попросить чего – а она ему: молчать, такой-сякой, ничего не смыслишь! Терпит-терпит, несчастный, да не ангел ведь: бежит от такой ведьмы. Ей бы за ним на коленях ползти – дети без отца остались, да и венец порушен – а она все виноватых ищет. Ну, а они не находятся – так она давай все свои беды на Господа валить: как смеешь? Я и посты соблюдаю, и в церкви, сколько положено, выстаиваю, и уму-разуму всех учу – все для Тебя. Я-то надеялась, что Ты мне уже при жизни венец дашь, а по смерти немедленно иконы мне писать повелишь, а Ты меня одну бросил и не слушаешь. Ну, так я Тебя достану: меня не слышишь – а к старцу уж будь любезен, прислушайся... И вот приезжает сюда такая, понимаешь... – я давно слушала его воркотню не особо внимательно, решив, что уставший от недостатка общения в монастыре дедушка нашел себе в моем лице благодарного слушателя и теперь захочет рассказать обо всех местных непорядках и неурядицах.

Что-то, правда, засвербело маленько у меня под сердцем, но обратить внимание я не успела: на противоположном конце поляны грозно затрещали кусты. Я глянула, не поняла, всмотрелась – и... оторопела: в десяти метрах перед нами среди листьев возникла огромная медвежья башка. Нормальные женщины обычно в опасности визжат – да так, что медведь и испугаться может – я же лишаюсь голоса, что произошло и на этот раз. Помню лишь, как, вцепившись мертвой хваткой в подрясник собеседника, просипела не своим голосом:

- От-чче... м-медве-едь... – и впала в столбняк ужаса.

Я видела и слышала все, что происходило, но полностью лишилась способности принимать участие в событиях.

Мишка неторопливо выбрался из кустов, отряхнулся, словно бы нас и вовсе игнорируя. И только потом, лениво, с остановками для обнюхивания и почесывания, направился в нашу сторону. Монах никаких признаков паники не проявил, продолжая безмятежно улыбаться солнечному лучу, повисшему как раз рядом с нами. Наконец, соизволил отреагировать на этот демонстрируемый вживую фильм ужасов:

-А, Миша пожаловал... Здравствуй, Миша... – и, повернувшись ко мне, простодушно пояснил: – Завтракать пришел.

- Н-нами? – не знаю, может, это я всерьез сказала, а может, решила умереть героически, пошутив напоследок.

- Зачем – нами? – удивился схимник. – У меня для него краюшечка припасена.

С этими словами он запустил руку куда-то в недра своего одеяния, и на свет появилась порядочная краюха хлеба, аппетитно отломленная, с крупными серыми кристалликами соли, блестящими в мякоти.

- Кушай, Мишенька, – протянул ему завтрак монах, отломив половину.

А вторую вдруг стал совать мне. Не успела я удивиться, как услышала жуткие слова:

- Покорми его, Женечка. Покорми, видишь – голодный...

Я стала пихать хлеб обратно сумасшедшему любителю животных:

- Это уж извините. Ему вся моя рука на один зуб, а она мне пригодится еще.

Зверь тем временем с хлюпаньем и сопеньем проглотил первый кусок и потянул страшную свою морду за добавкой. С неожиданной силой старичок удержал хлеб в моей руке, и я услышала совсем другой голос, в котором и следа не оставалось от прежнего вольного благодушия:

- Корми. Благословляю.

Я не посмела послушаться. Огромная пасть, сверкавшая зубами, больше похожими на лезвия ножей, приблизилась к моей руке. Я зажмурила глаза. А когда открыла их, то хлеба на моей ладони уже не было, причем рука осталась невредимой, а хищник вновь оборотился к монаху. Сердце мое, до той секунды, казалось вообще не бившееся, запустилось опять. Я четко видела, что монах довольно небрежно треплет бурого медведя за ухо и приговаривает:

- Ну, поел, Миша, и хватит, и ступай себе, нечего тут матушку пугать: видишь – ни жива ни мертва сидит...

И в этот момент мощный поток солнечного света пролился на них обоих – человека и животное – сквозь ветви сосен. Вдвоем они оказались на миг будто золотом залиты – и меня осенило, озарило бурной радостью:

- Ну, конечно... – залепетала я севшим голосом. – У Сергия Радонежского – был... У Серафима Саровского – тоже был... У Герасима Иорданского – так вообще лев... Почему бы и у вас не быть медведю, отец... Варфоломей?

Миша уходил от нас обратно в направлении своих кустов – и тут я заметила, что у него под брюхом болтается бурое вымя.

- Это не Миша, а Маша! – выпалила я.

Отец Варфоломей обернулся было с мнимо удивленным возгласом: «Да ну?!» – но, увидав сразу, что я все поняла и вполне серьезна, сразу перестал юродствовать. Он опять сосредоточенно искал что-то в своем подряснике. Нашел, протянул мне. Я взглянула: обломок карандаша! Короткий, ветхий, но с остро заточенным острием. Я посмотрела вопросительно. Отец Варфоломей больше не улыбался. Я не ждала уж ответа, когда все же услышала его – суровый и очень скорбный:

- Ты много потеряла. Очень много. Почти все. Но не это.

Потом, когда он ушел, я рыдала, сжимая карандашный огрызок в ладони. Рыдала так, как никогда раньше в жизни. Я не смогла даже усидеть на бревне и валялась в траве, выплакивая не горе – грехи, вопиющие к небу...

Вернувшись в Петербург, я стала снова писать, как благословил о. Варфоломей, только книги мои... изменились. Как – не знаю, на мне судить. Просто чувствую, что в них неуловимо присутствует что-то другое. Если захотите, Сима, почитаете. А Франциску Ассизскому молиться не обязательно. Имя-то у вас какое – вдумайтесь! Серафима! Серафимушку бы Саровского на помощь призвали, к примеру... Ну, это я так, не мне вас учить... Каждый своим путем идет...

- И вы счастливы? – спросила вдруг Сима.

Я честно задумалась, потом ответила – с легким трепетом:

- Да, – и не солгала тогда, знаю.

- Редкость в наше время. Мало кто дерзнет так ответить. Да и чувствуют это немногие, – заметила Сима.

Я постелила ей на диване в холле – есть у нас такое особое гостевое место. Ночью подходила смотреть, как она спит – нехорошо спала, тревожно: лоб покрывала испарина, Сима металась, бормотала что-то... Не так уж немного она меня моложе – лет на пять всего, а я вдруг почувствовала себя ей – матерью, перекрестила почти любовно: пусть минует тебя чаша сия!

* * *

А Сима в это время стояла в мастерской перед своей незаконченной картиной «Жизнь святого Франциска». Странной казалась ей эта картина. За то время, что Сима ее не видела, краски на ней совершенно изменились – словно в картине настала ночь. Преобладали черно-синие тона, а лица выглядели мертвенно-голубыми в сиянии невесть откуда взявшейся зловещей луны. Сима знала, что это как бы не совсем картина. Что это своего рода окно в достоверный эпизод прошлого – только вот все действующие лица

замерли, как на остановленной киноленте. Но они – живые, думающие, страдающие – поняла вдруг Сима, и их страдание осязаемо, хотя и невидимо, выплеснулось на нее из картины – и она закричала от боли, порываясь бежать, но вместе с тем желая остаться на месте. Взгляд ее был прикован к наиболее страдающей фигуре на полотне – да нет, какое там полотно! Она отчетливо услышала таинственные звуки субтропической горной ночи, в лицо ей повеяло сладкими ароматами ночных южных растений. Нет, не холст был перед ней, а открытая дверь, только войди! В мучительном колебании, почти смертной тоске шагнула Сима к картине, но в последний момент остановилась. Ее ломало, разрывало между желанием перетупить черту – и неудержимым стремлением остаться.

- Франциск! – простонала она. – Франциск, помоги мне! Видишь, я погибаю!

Страшная сила толкнула ее сзади, и Сима против воли полетела к открытому проему меж временами – но в последний неуловимый миг, когда она была уже в миллиметре от цели, перед ней вновь оказался плотный холст с прежними красками на нем. Выглядели эти краски теперь поблекшими и мертвыми, словно восемьсот лет назад написана была картина, и готовилась рассыпаться в прах.

Снова кто-то тянул ее за плечо, вытаскивая куда-то, и она молча боролась до тех пор, пока не поняла, что проснулась на диване в незнакомой квартире – верней, у Егора, курсанта милицейской Академии. Это он привел ее сюда вчера, в полушутку предположив, что «уж на квартиру к милиционеру вас точно убивать не придут», это он вчера нашел слесаря, чтоб вскрыть замок в ее квартире, и не стал потом доказывать ей, что это она сама устроила в собственной спальне такой бардак, а помог собраться и подсказал, какие именно вещи следует брать с собой, если намереваешься пуститься в бега. Он же заставил слесаря врезать новый надежный замок, а, приведя Симу к себе домой, первым делом позаботился о том, чтобы она позвонила к себе на дачу и убедилась, что с семьей все в порядке... Потом они долго сидели на кухне с его мамой – забавной, рыжей и очень умной женщиной, которая ухитрилась родить четверых детей и, оставшись с ними одна, не сбрендить от ужаса, а еще и чувствовать себя счастливой, писать книги и рассказывать поучительные истории... Сам Егор, правда, сказал Симе вчера что-то не слишком приятное, но вдаваться в воспоминания об этом сегодня не особенно хотелось, потому что он сам, свежеемытый и оттого румяный и очень симпатичный, стоял у дивана и тряс ее за плечо. Когда Сима очнулась до стадии восприятия человеческой речи, она услышала нарочито-бодрый голос:

- Поднимайтесь, мадам, нас ждут великие дела! Кушать подано, карета у подъезда. Да, кстати, я очень извиняюсь за вчерашнее... От мамы я уже получил нахлобучку, так что... вы не добавляйте от себя, ладно? Просто простите меня – и все...

Глава 6 Катастрофа

...кто спредстанет ми на делающыя беззаконие?

Пс.93, ст.16

Что угодно можно предположить о своей жизни: чего-то возжелать, чего-то испугаться... Но есть вещи непредставимые – например, в расцветшем начале двадцать первого века запросто ехать в грязно-голубом «Запорожце» выпуска начала семидесятых – по Петербургу! Неделю назад я бы еще подумала – а не пешком ли пойти, теперь произошло некоторое смещение понятий, и, ни минуты не сомневаясь, я решительно уселась рядом с Егором. А он, казалось, гордился своим чудищем! Еще бы: сам починил, вернее, придал форму автомобиля груде ржавого металлолома, унаследованного от деда вместе со старым гаражом.

Мы ехали на дачу к Марьяне – так решил Егор – просто потому, что надо же с чего-то начинать! Так же, как и Рита недавно, мы рассудили трезво: единственное место, где водятся крупные деньги – а убивают людей чаще всего именно ради них – это все-таки семья моих работодателей. Муж Марьяны – владелец коммерческого телеканала, следовательно, логично начать с них, а точнее – самой Марьяны: покушались убить женщину, похожую на нее, то есть, меня... Мобильник ее как заклинило на «вне зоны действия сети» – так до сих пор и не отпускало, а я ведь прекрасно помнила, что с «трубой» Марьяна не растает даже в ванной! Впрочем, впадая в более или менее длительные периоды «депрессии» – намеренно беру это слово в кавычки, потому что в депрессию без кавычек может впасть только человек, перетрудившийся умом или душой. Первое присутствует у Марьяны в зачаточном состоянии – ровно настолько, чтобы можно было отнести ее к самке *Homo sapiens*; а в наличии второго мне даже пришлось один раз убедиться. Но этот невидимый орган у нее также рудиментарен и нетрудоспособен, поэтому причиной депрессии стать никак не может.

Просто Марьяна периодически воображает себя героиней очередного телесериала – а они, как известно, постоянно пребывают в красиво растрепанных чувствах. Тогда Марьяна «отрешается от мира», чаще всего в компании пары бутылок «Бейлиса», отключает сотовый и предается мелодраматическим переживаниям. Причем, все это она проделывает именно на даче – не похожей, разумеется, на нашу избушку под Лугой, а более напоминающей барскую усадьбу позапрошлого века. Ребенок при этом скидывается на прислугу, а муж занят на своем телевидении настолько, что его можно в расчет не принимать... Домашние телефоны, правда тоже нигде не отвечают, а сотового ее мужа я не знаю. Вывод: Марьяна грустила на дачи в обществе няни, домработницы и охранника, по совместительству садовника, телефоны все отключила – а муж в очередной длительной командировке...

Егор, представителью одетый в серую милицейско-курсантскую форму и вооруженный удостоверением практиканта, напрасно, на мой взгляд, надеялся выудить что-либо путное из разговора с Марьяной. Напугать ее, сообщив, что меня пытались убить при выходе из ее дома, он мог, а вот добиться ее собственных воображений на данную тему – вряд ли.

- Да поймите вы, Егор, – втемяшивала я, подпрыгивая рядом с ним на жестком сиденье, обтянутом грубым коленкором. – Это только по видимости человек, а на деле – кукла! Красавица, ухоженная – но совершенно безмозглая. Ее голова устроена таким образом, что не способна делать выводы! Она может испытывать только стандартный набор примитивных чувств: страха, сентиментальности, подобия влюбленности... Эта хорошенькая головка начинает в прямом смысле болеть при малейшей попытке напрячься! Наша поездка бесполезна, упрямый вы человек!

- Вы хотите сказать, она что – дебилка? Я имею в виду буквально: больна олигофренией? – нарочито деловито осведомился Егор.

Я пожала плечами:

- Знать бы, что это такое на самом деле... Но если хотите – да. Образования – никакого, существование – полурастительное. Она даже к мужу и ребенку испытывает какие-то смутные чувства... Это эгоцентрик, но совершенно невинный: она просто не думает о том, что у кого-то могут быть проблемы, не решаемые с помощью денег. В этом смысле она добрая, но только потому, что ей легко – деньги для нее ничего не значат, но не в хорошем смысле, а потому что у нее из слишком много – и она ни рубля не заработала сама! Видите ли, это такой ласковый ручной зверек, но поскольку она все-таки – не зверек, то имеет какие-то фантазии... Например, любит однажды вдруг выйти из дома, одевшись поскромней (по ее меркам, конечно) и затеряться в толпе. Обожает съесть какую-нибудь мерзость в «Макдоналдсе» – меня, например, туда на аркане не затащишь, травиться только... Обожает в метро прокатиться и наивно воображает при этом, что «наблюдает за типажам»... И откуда только выраженьице такое взяла – не пойму! Словом, симпатичная

мартышечка... Представляете, однажды на Троицком рынке себе свитер купила – и, как ни в чем не бывало, явилась в таком виде к мужу в офис...

- Одним словом, очень непростой и глубоко несчастный человек, – глухо произнес Егор после некоторой паузы.

Я вздрогнула. Потом повернулась к нему. Мне удалось увидеть только сосредоточенный профиль – обещающий со временем стать «суровым», уловить серьезный взгляд из-под нахмуренных бровей. Он непринужденно, словно «Мерседесом», управлял своей консервной банкой, и я любовалась этой нарождающейся мужской статью. «И повезет же какой-то девке! – подумалось невольно. – Лишь бы стерва не окрутила: жаль будет парня, экземпляр-то редкий!».

- Что вы имеете в виду, Егор? – осторожно спросила я и мягко пояснила: – Вы не упражняйтесь в психологии, здесь все гораздо проще: совершенно никчемная особь...

Егор оторвался от дороги и в упор, пристально глянул на меня. Его голос прозвучал жестко:

- Как просто походя отказать человеку в человеческом достоинстве! – и он больше ничего не сказал.

Мы молча ехали по загородному шоссе по направлению к одному из многочисленных новорусских поселков, где прошлым летом я провела неделю, делая вид, что учу Славика азам пейзажа, а на самом деле отдыхая, потому что обучить пейзажу или чему-нибудь другому путному его в принципе невозможно: в маму сын пошел. Но сообщать об этом его родителям я не спешила: такой разговор моментально лишил бы меня трети дохода...

Крыша кабины раскалилась от вдруг нагрянувшего солнца, Иртыш на заднем сиденье часто дышал, свесив набок розовую тряпку мягкого языка, и я жалела, что не могу облегчить таким же образом собственные страдания. Отвлечшись, я размышляла о Марьянином «человеческом достоинстве» – и только в одном эпизоде нашего с ней знакомства нашла его следы... Так случилось, что я закончила урок со Славиком, на смену мне явилась замученная учительница английского – только этим себе на жизнь зарабатывая, она выглядела истерзанной, но приказавшей себе не сдаваться до последнего – а Марьяна как раз собиралась совершить очередное «хождение в народ». Обязательным аксессуаром для подобной эскапады она считала непроницаемо черные очки – это зимой-то! – может, впрочем, убедила себя, что в противном случае каждый второй станет просить у нее автограф. Дюжина разнообразных очков лежала перед ней у зеркала, и Марьяна деловито примеряла их по очереди.

- Серафима! – трагически призвала она, заметив мое явление из ванной с отмытыми руками. – Я никак не могу выбрать! Помогите мне!

Я приблизилась:

- А это смотря за кого вы хотите сойти.

- В каком смысле? – растерялась она.

- Ну, какую роль сегодня намерены сыграть, – продолжала безнаказно издеваться я. – Например, школьной учительницы, у которой сорок контрольных по математике в сумке. Или домохозяйки, не успевшей утром посетить косметичку...

- Посетить? – искренне удивилась Марьяна.

Ах, да, я и забыла, что она и понятия не имеет о том, что многие женщины, причем, отнюдь не бедные, посещают косметические салоны по записи, а не ждут косметолога-визажиста к себе домой в удобное время...

- Да! – безжалостно подтвердила я. – Или еще безработную актрису можно сыграть. Она приехала из провинции искать работу в Петербурге... Тогда это совсем другие очки. Ну, а можно жену алкоголика, которые ей вчера в глаз двинул, так что черные очки она теперь не скоро снимет... Между нами, если пасмурным зимним днем встречаешь на улице женщину в черных очках, то первая мысль именно такова: любимый приласкал...

- Неужели?! – ужаснулась Марьяна.

- Причем, даже если на даме шиншилла, как на вас, – неумолимо закончила я. – Думаете, только бомжи своих сожительниц лупят?

- Тогда я лучше без них... – пролепетала озадаченная представительница современного бомонда. – Я, вообще-то просто туфельки хотела присмотреть... к платьицу... Синенькому такому... Вы мне поможете?

Час от часу не легче! Как в модном доме, отгрохавшем себе дворец из зеркал, стекла и легких перекрытий, мы выбирали ей «туфельки» к «платьицу» – это отдельная, а для меня еще и неприятная история: цена наконец одобренной обуви превысила совокупный полугодовой доход моей семьи – но Марьяна вовсе на хвалилась обеспеченностью: ей просто не приходили в голову такие мелочи...

Важен был один нюанс, произошедший – до и мне запомнившийся. Мы спустились в прозрачном полукруглом лифте, и шагали бок о бок по бетонной дорожке, отойдя от дома уже довольно далеко, когда Марьяна вдруг будто споткнулась и вскрикнула не своим голосом:

- Забыла! Господи! – и опретью рванула обратно к подъезду, ловко прыгая на своих тонких высоких «шпильках».

Недоумеая, я поспешила следом, потому что так может вскрикнуть человек, позабывший бутылку серной кислоты посреди детской, или рассеянно открывший все краны газовой плиты, не задув при этом свечи в канделябре. В лифте я от Марьяны ничего не добила – она лишь невразумительно мычала, что «без него идти никак невозможно». В квартире выяснилось – без кого: без беленького фарфорового песика размером с мой большой палец. Песик был жестоко покинут в спальне на трюмо. Я попросила поддержать игрушку: ничего особенного – дешевая поделка ленинградского фарфорового завода, до перестройки ценой меньше рубля. У песика было серое пятнышко на спинке и человеческие голубые глаза в черных ресницах. Марьяна забрала у меня свое сокровище и спрятала в сумку, пояснив:

- Я без него – никуда. Ухожу – с собой беру, прихожу – на трюмо ставлю. А утром просыпаюсь – его первого вижу... Глазки у него такие миленькие, словно он говорит мне: «Привет, Марьяшка!».

- Талисман? – догадалась я; именно человеческие, даже детские глаза на собачьей морде мне и не нравились в этой фигурке: находясь не на своем месте, они коробили эстетическое чувство любого, кто понимает, что это такое.

- Подарок... – тихо призналась Марьяна. – От любимого человека...

Мне совсем не хотелось становиться поверенной ее немудрящих тайн, но выслушать пришлось. Три года назад Марьяна изменила мужу. Это была «любовь с первого взгляда и навсегда». Но только однажды – «страстная, незабываемая ночь». Он был женат, имел «двух чудесных малышей» и беден, как церковная мышь, несчастный... Поэтому подарил только этого «миленького щеночка» – больше ничего не было – сказав, что он похож на Марьяну. И с тех пор Марьяна своего бедного принца забыть не может, гордая сознанием того, что и в ее жизни «тоже было настоящее чувство», а со щенком не растает ни на минуту.

- А муж... Что муж... – закончила она свою печальную повесть. – У всех муж, вот и у меня тоже...

«Да уж... Этот не фарфоровые фигурки дарит, – подумала я. – Интересно, почему он ее до сих пор не бросил? Он-то не производит впечатления идиота...». Впрочем, я тотчас вспомнила измышление одного из великих французов, знающих толк в любви. Он обмолвился, что нерасторжимость многих связей, даже самых нелепых, может объясняться альковными тайнами – что, наверное, и имеет место в данном случае.

Другой эпизод нашего с Марьяной тесного общения оказался кровавым. Мой урок, опять же, подходил к концу, когда из ее спальни донесся леденящий душу крик. Швырнув остолбеневшего ребенка в руки мчавшейся мимо няни и тем остановив ее, я кинулась на помощь.

Оказалось, Марьяна споткнулась на ровном месте и обеими руками с размаху угодила в зеркало трюмо. Кровь хлестала из левой руки, как из фонтана «Самсон» – но правой, не так сильно покалеченной, несчастная шарила среди осколков и баночек на столике: искала своего песика, боясь, что сейчас увезут в больницу – без него! Острой жалостью дернулось мое сердце – не за руку ее, глубоко порезанную, а за эти беспомощные поиски в крови, сквозь боль... Я первая увидела игрушку и подала ей. Надо было видеть, как быстро сжались в кулачок окровавленные пальцы! Потом я более-менее безуспешно накладывала жгут, пока прислуга вызывала «скорую», а когда бригада приехала – Марьяна уже лежала поперек пропитанной кровью кровати почти без сознания, мертвенно бледная, с закатившимися глазами... Вместе с медиками вбежал и предусмотрительно вызванный кем-то Алексей Петрович. Услышав: «Кровь надо переливать – и быстро», – он неожиданно выдал важную информацию:

- У нее первая – универсальный донор.

Фельдшерица обернулась на него, как на психа:

- Так не у нее брать, а ей переливать нужно! И только – первую! И прямо сейчас, а то не доведем никуда! Кровотечение-то было – артериальное!

- Первая – у меня! – кстати вспомнила я. – Это точно, я со времени родов помню! – и, предотвращая неизбежный вопрос: – Гепатита и СПИДа нет...

Марьяна быстро поправилась, я – тем более, хотя даже «спасибо» не услышала. Лосиный плащ, оставленный по совету Егора, дома, был подарен лишь месяца три спустя. Погорячилась я, конечно: есть у нее какое-то там достоинство, а Егор зато теперь плохо обо мне думает...

Увидев голубого цвета антикварное чудище, самоуверенно прущее прямо на шлагбаум, преградивший путь в поселок избранников фортуны, охранник, не поверив глазам, аж вылез из будки, чтоб рассмотреть диво дивное поближе и вдоволь покуражиться над водителем. Невозможно же, чтобы это сооружение сейчас действительно проехало по мощным улицам нарядной, стилизованной под Запад «деревеньки»! Но через минуту, глянув в Егорову красную книжицу, уже без разговоров поднимал свою красно-полосатую деревяшку... Я уверенно показывала дорогу, стараясь, чтоб мой голос звучал как можно мягче, и тем сгладилось бы впечатление от моих нелестных отзывов о Марьяне, свидетельствовавших о моей черствости и крайнем тщеславии.

На длительные звонки у высоких зеленых ворот никто не вышел навстречу.

- Может такое быть? – спросил Егор.

- Точно – нет. Когда Марьяна здесь – одна ли, с семьей ли – то при них целый штат: и няня тут, и повар, и горничная, и этот... садовник, то есть, охранник. Раз не отвечают – значит, нет никого, – обстоятельно рассказала я. – Впустую съездили, она, может, уже на Багамах.

- Может, и на Багамах... – задумчиво протянул Егор, пристально оглядывая зеленую стену изгороди. – Но придется убедиться... Как-нибудь еще, кроме как через ворота, туда попасть можно?

- Есть калитка сзади, потайная, запасной, так сказать, выход. Снаружи ее не видно, она сливается с забором. Я покажу. Изнутри замок мудреный, но вполне открываемый... Так что если вы перелезете, то быстро откроете и нам с Иртышом... – я посмотрела на пса, намереваясь потрепать его по холке, и замерла: шерсть на этой самой холке уже всюю стояла дыбом, делая шею вдвое толще, а в глазах, доселе просто умных и внимательных, теперь проглядывал холодный блеск хищника.

Егор перехватил мой взгляд и принял мгновенное решение:

- Только Иртышу. Вы, Сима, останетесь здесь.

- Ну, уж дудки! – зартачилась я. – Чтоб меня тут без вас зарезали! – мне и правда сделалось вдруг страшно от вида собаки, явно чуявшей что-то, нам недоступное.

- Пожалуй, – без улыбки согласился Егор, и сердце мое упало в пятки: он, стало быть, вполне допускал такой исход, раз не стал меня успокаивать!

За забор он махнул в три приема и, не успела я прочувствовать свое одиночество, как потайная калитка бесшумно отворилась, и я облегченно скользнула в нее первой – Иртыш за мной.

- Ищи, Иртыш, ищи... – шепотом приказал Егор.

Мы стояли на безобидной лужайке, окруженной запущенными клумбами. Но Иртыш не стал ничего искать, а позорно прижал уши в голове и заворчал на низкой тревожной ноте. Я бесшумно шагнула к Егору, шепнула кое-как:

- Он чует кого-то? Здесь кто-то есть?

Ответ Егор утвердительно – и я, возможно, хлопнулась бы в обморок. Но он сказал – в голос:

- Если б здесь кто-то был – Иртыш не ворчал бы и уши не прижимал. Потому что он пес храбрый, и «кого-то» не испугается, проверено.

- А что это с ним, по-вашему? – настаивала я шепотом.

- Он чует не кого-то, а что-то, – исчерпывающе объяснил Егор. – И боится, потому что никогда с этим не сталкивался...

- Господи, да что же это?! – не решаясь оставить шепот, всхлипнула я – мне уже мерещились кадры фильма ужасов.

- Знал бы – разобрался... Пойдемте, осмотрим все, что сможем, – твердо распорядился Егор, и теперь, крепко пришитая живой нитью страха, я безвольно двинулась за ним, стараясь не производить шума. Рядом кралясь по мягкой траве Иртыш...

И, оказавшись в доме враги, – тут бы нас всех и перестреляли. Потому что именно в ту минуту, когда мы конспиративно преодолевали открытое пространство, у меня в кармане запел мобильник, прихваченный из дома в первую очередь. Я увидела «страшные глаза», сделанные мне моим молодым спутником, но большой палец привычно нажал на зеленую кнопку. Не вполне соображая, что делаю, я поднесла трубку к уху, не взглянув на дисплей – и даже не успела «алекнуть». Впрочем, мне вообще ничего сказать не пришлось – обеспечив полную тишину на участке, я лишь выслушивала:

- Ага, явилась, наконец, со своих вонючих б...к! Если уж по чужим постелям валандаешься, то хоть бы телефон с собой носила! А то на отца и сына ей, видите ли, плевать, она, видите ли, в загуле! На свободе она! Так вот, имей в виду, что я больше терпеть твои выходки не намерен! А намерен уехать с другом на рыбалку! Дня на два-три, не меньше! Так что изволь приехать не позже субботы, иначе я твоего ребенка привожу в Питер – и сама разбирайся! Кроме того, ты мою пенсию должна была получить – где она? С кобелем очередным пропила? Опять какого-нибудь маромоя на отцовские денежки содержишь?! И еще учти, что... – «Бринь» – сказал телефон: денежки на счете родителя кончились.

Но главное было непоправимо ясно: в субботу, и ни днем позже, я должна найти того, кто хочет моей смерти – и обезвредить так или иначе. Потому что, начиная с того дня, со мной будет мой ребенок. Здесь ли, в Луге ли – безразлично, но я не имею права даже приблизиться к нему, не обеспечив полной безопасности. Объяснять что-либо отцу не имеет никакого смысла: он и вдаваться не станет ни в какие подробности, потому что давно, с самого моего рождения, не воспринимает меня всерьез. В пятницу, а сегодня, вторник. У меня двое с половиной суток – хватит с лихвой, чтобы умереть многократно...

Я вновь поймала взгляд Егора – на сей раз ободряющий. «Ох, и парень кому-то достанется!» – опять некстати подумала я. Все, заложенное в нем, сулило превратиться в ближайшем будущем в отменные чисто мужские качества, среди которых самые главные – ответственность и надежность – уже совсем выкристаллизовались и наложили свой ясный отпечаток на прямодушное, с каким, видимо, он и родился, типично русское до ординарности лицо...

- Отец... – шепотом пояснила я. – Ругается...

Егор понимающе улыбнулся и ответил вслух:

- Здесь явно нет никого, но дом все равно осмотрим.

Я глянула на Иртыша, и мне вновь стало не по себе: пса что-то тревожило и пугало, это было очевидно даже такому дилетанту в отношении четвероногих, как я. Он почти заложил уши, хвост зажал меж задних лап, а взгляд, устремленный на хозяина, нельзя было назвать иначе как заискивающим – мол, если что – ты ведь меня спасешь, да? Неужели этот великолепный широкогрудый зверь – отъявленный трус?

- Поверьте, Сима, храбрее Иртыша собаки нет! – горячо вступился за любимца Егор, словно прочитав мои мысли. – Мы с ним раз в такой переделке побывали, что я на него, как на самого себя могу положиться! Я вам потом расскажу... А сейчас... – вдруг помрачнев, Егор испытующе посмотрел исподлобья. – Я догадываюсь, что происходит... Верне, что произошло...

Бедный мальчик, наверное, боялся испугать меня какими-нибудь слишком определенными словами, но позабыл, что за трое последних суток я уже натерпелась всякого страха настолько, что немножко пообвыкла.

- Произошло – убийство, а собака чует труп, – спокойно подсказала я.

Егор поднял на меня удивительно ясный взгляд:

- Да... А вы откуда знаете? – наивно спросил он.

Я только вздохнула.

В учебном плане милицейской Академии, вероятно, стоит в сторонке и особнячком какой-нибудь хитрый предмет, позволяющий курсантам овладевать азами разных смежных профессий – взломщика, например. Меня убедила в этом виртуозность, с какой Егор в два счета нейтрализовал невидимую сигнализацию, о которой я даже не подумала, а потом гостеприимно распахнул передо мной двери чужой дачи. Мы вступили в сыроватый полумрак. И обоим пришла в голову одна и та же мысль, только я не успела ее озвучить, а Егор – успел:

- Здесь уже минимум год, как никто не жил.

Действительно, мебель понуро стояла в пыльных чехлах, люстра в холле тоже была основательно запакована в серый холст, картины и зеркала завешены, словно на столе лежал покойник. Мы методично обходили комнату за комнатой, не забыв ни чуланы, ни ванны, ни гараж, но нигде не нашли следов сколько-нибудь свежего присутствия человека: везде одна и та же затхлость и уныние. Никто не приезжал сюда ни весной, ни летом, чтобы прервать зимнюю спячку веселых дачных вещей.

- Вспоминайте хорошенько – она сама вам сказала, что собирается на дачу? – перенятым у кого-то уважаемого тоном осведомился Егор.

- Сама.

- Именно на эту дачу?

- Вот этого не знаю... Теоретически, их может быть сколько угодно. Но я была на этой, и она как-то подразумевалась...

- А может быть, Марьяна сказала «на дачу к друзьям», например? Напрягитесь, вспомните! Ведь при таких разговорах, вскользь, западает в память только «дача» – без подробностей.

Я послушно включила у себя в голове сцену прощания с Марьяной (плащ мне уже подарен).

В дверях оборачиваюсь: «До свиданья, Марьяна!». «До пятницы, Сима... – рассеянно роняет она, но спохватывается: – Ах, нет, уж теперь до сентября!». «?». «А я завтра за город отбываю... Стаську муж привезет чуть позже... Без него отдохну неделечку... Ну, Сима, хорошего вам отдыха!» – и далее неразборчиво...

- Она вообще не сказала «на дачу», – убито призналась я. – Она сказала «за город». Я просто так поняла, по ассоциации...

- Наберите-ка еще раз ее номер, – распорядился Егор, и через полминуты мы уже вдвоем выслушивали отповедь робота.

- Странно все это, крайне странно, – подытожил он. – Но разберемся. Кое-что уже мерцает... тут... – он грациозно, как девушка, коснулся указательным пальцем лба. – Кстати, смотрите, Иртыш успокоился.

И правда, собака выглядела совершенно иначе: заинтересованно обследовала предметы, хвост распрямился, уши встали домиками – и не было ничего зловещего в этой собачьей любознательности.

- Значит, то – снаружи, – догадалась я.

- Не обязательно. Может, мы и ошибаемся, – заколебался Егор. – И, в любом случае, из-за поджатого хвоста собаки перекопать чужой чад на законных основаниях нечего и мечтать. Даже если мы что-нибудь и найдем... Незаконно... Это ничуть не поможет нам узнать, почему охотятся за вами. Знаете, у меня дурацкое чувство: с одной стороны, здесь столько всего, что совершенно необходимо доложить начальству... А с другой стороны – докладывать абсолютно нечего...

...Так же артистично Егор замел следы взлома, невольно позируя перед моим восхищенным взором, и мы рысцой потрусили по лужайке в сторону потайной калиточки. Теперь уже мы оба пристально наблюдали за Иртышом, и сразу уловили перемену. Чуть выйдя из дома, он беспомощно оглянулся и вновь, как и прежде, уменьшившись в размерах сколь возможно, тесно прижался к хозяину.

- Чует, – констатировал тот. – Ах, почему я не могу у него спросить – что?!

Втроем погрузились мы в наше антикварное средство передвижения («Лучше плохо ехать, чем хорошо идти», – попутно утешил Егор) – и покатали к въездным воротам... Я сперва лишь механически отметила, не придав значения факту, что сразу вслед за нами отчалила с обочины и другая машина – ненавязчиво белая «девятка» и поехала в том же направлении, держась несколько позади. Только минуты через три меня стукнуло: почему не обгоняет?! Места вполне достаточно! Почему покорно плетется за нашим голубым посмешищем?! Я в панике оглянулась: «девятка» отстала ровно настолько, чтобы нельзя было, имея среднестатистическое зрение, с ходу определить номера. Может, случайность? Может, там просто отчаянный лентяй за рулем? Я до боли вглядывалась в ставшую вдруг угрожающей машину: тонированные стекла позволяли видеть лишь смутные очертания людей внутри – как минимум, двоих... И, хотя я все еще упорно твердила про себя: «Это не обязательно. Это не обязательно», – ледяная струйка ужаса сбежала по хребту и замерла на копчике.

- Ситуация начинает проясняться! – услышала я вдруг возбужденный, почти радостный голос Егора.

Он, оказывается, давно уже наблюдал погоню в зеркале заднего вида.

С той секунды время потекло как-то иначе – не скажу быстрее или медленней, а: в другом ритме. Своей беспечной фразой Егор подтвердил мои самые мрачные подозрения, да и напрягаться особо не следовало, чтобы понять: дом от ворот недалеко, вполне в пределах видимости охранника, получившего наказ, подкрепленный определенной мздой, сообщать конкретному лицу обо всех, кто приблизится к даче Марьяны. Искавшие меня предполагали, что рано или поздно я брошусь к ней за помощью – и стану легкой добычей: ведь убийцы-то узнали раньше, что дача пуста! Их единственный и вполне простительный просчет заключался в том, что я приехала на дачу не одна или с подружкой (разделившей бы в этом случае участь всех от века нежелательных свидетелей), а в компании милиционера. Это должно было их ненадолго озадачить – оттого и следовали за нами на деликатном расстоянии, наверное, активно обсуждая по пути новый наипростейший вариант устранения меня или нас обоих. Почему, собственно, в наше время должно быть так страшно убить человека в милицейской – да еще, если приглядеться, в курсантской – форме?

Осознав это, я должна была оцепенеть от ужаса, ежесекундно чувствуя привязанную сзади смерть, которую я словно волокла за собой на веревочке. Но вместо этого я вдруг впала в состояние нереальности, словно оказалась в параллельном мире, где все, вроде, и

по-нашему, но плотность, емкость и пластичность времени – другие, в чем и заключается весь фокус. Более того, я уже бывала в этом мире и помнила его: упомянутое в любом учебнике психиатрии «дежа вю», вдруг стало почти осязаемым! И, вместо того, чтобы сосредоточиться на происходящем – то есть, на классической погоне, и решить, как с этой напастью разбираться, я принялась насилловать свое подсознание, пытаюсь закинуть туда какую-нибудь подходящую ассоциацию и на нее, как рыбу на крючок, поймать конкретное воспоминание. Никогда бы мне в этом не преуспеть, если бы в открытое окно не плеснул вдруг явственный и густой запах меда. Конечно, это был не мед, а желтые цветы-сорняки, живущие плотными зарослями и издающие одуряющий сладострастный аромат, в букете которого гвоздем программы присутствует жирная медовая струя...

Да, да, тогда тоже цвел июнь, и наша с Ильей любовь стояла на пике страсти. Это была та чудная, редко повторяемая пора, когда влюбленные готовы видаться ежеминутно и, встречаясь, не могут разомкнуть рук... Когда нельзя одному набрать номер другого не вовремя, и в разговоре ни о чем каждая пустая фраза кажется полной сокровенного смысла... А уж если такие любовники вынужденно разлучены, и приходится вырывать встречи из недружественных лап жизни – то вдвойне остро чувствуют мужчина и женщина эту постоянную наполненность друг другом, и стократ трудней разжать запретные объятия...

В тот день случилось так, что оба мы именно «улизнули» – он от своей жены, а я от отца – под разными предлогами, но клятвенно пообещав домашним отсутствовать не более трех часов – а было четыре пополудни. Меня ждал дома затеянный родителем ремонт, где я использовалась не в качестве дизайнера, как можно было предположить, а в неуважаемой роли чернорабочего: помогала нескольким курсантам, пригнанным из какого-то училища на трудовую повинность одним из батиных корешей-полковников. Илье же предстояло везти Варю на консультацию к очередному профессору, коей добивался он для больной жены в течение последнего полугодия – для чего необходимо было заранее забрать машину из ремонта... Люди на другой стадии романа благоразумно отложили бы свидание, но мы тогда еще не отошли от первого солнечного удара...

Стремясь поделиться с возлюбленным самым сокровенным, я подбила его ехать на электричке в недалекий дачный поселок, где у моей тети имелся домик. В детстве отец регулярно сплавлял меня на лето к своей сестре и, никому в той семье не нужная, я получала из-за взрослого ко мне безразличия нешуточную свободу. Оттого и полюбились мне так те пыльные места, прочно осели в сердце – и я повезла любимого купаться в одном сказочно глубоком и уж вовсе фантастически по нашему времени чистом озере с бирюзовой водой...

Искупались мы действительно отлично в кристальной, прослоенной теплыми и холодными течениями воде – а там и настала пора очень быстро собираться в город: циферблат безжалостно продемонстрировал шесть часов вечера. Мы честно направились по тропинке, разрезавшей надвое ярко-желтый ковер заросшего теми самыми сорняками луга, но, дойдя до середины, переглянулись и, не сговариваясь, свернули в луга по перпендикуляру... Мы оба знали, что торопимся, и воображаемая огромная черная минутная стрелка висела над нами дамокловым мечом. Мы даже прикинули по пути, что раз уж не попадаем на эту электричку, то вполне успеваем на следующую, что кончится для нас обоих небольшим, вполне поправимым опозданием... Я помню все, что происходило с нами среди дурмящих трав – впрочем, любой дурак может себе это представить – и точно знаю, что максимальное время, потраченное нами, приближалось к получасу. Я очень чутка на все, что касается времени и, собственно, не нуждаюсь в часах, чтобы в любой момент определить его с погрешностью в пять-семь минут. Поэтому, когда я, лежа у Ильи на плече, спросила, который час, имея в виду поторопиться на следующую электричку, я ожидала услышать «половина седьмого» – ну, в самом крайнем случае – «без двадцати». Еще храня на лице выражение, оставленное только что пережитым блаженством, он поднял руку с часами, взгляделся и пробормотал: «Господи... без десяти

двенадцать...». Мы подскочили разом – и огляделись: и небо, и трава, и воздух – все переменяло яркость и цвет с вечернего на ночной, солнце исчезло, зато повисла липкая сырость, и туман начал появляться рваными клочьями там и тут... Белая ночь победоносно стола над нами, а мы как переглянулись в ужасе – да так и остолбенели... Наконец, Илья выдал чужим голосом:

- Но ведь мы же не засыпали... – это была констатация и мне хорошо известного факта, который я и сейчас готова подтвердить под присягой, хотя мне с тех пор так никто и не поверил.

Мы не спали, это я знаю точно, и ничем невозможно объяснить исчезновение из нашей жизни четырех с лишним часов. То ли мы выбросили такое количество энергии, что перескочили с ее помощью само время, то ли попали случайно в какой-нибудь «временной карман», в существование которых я всегда непоколебимо верила, то ли стали жертвой жестокого розыгрыша иномирных сил... Мне никогда не узнать, но, оглянувшись мысленно назад, я с усилием определенно вспомнила, что испытала необычные, не поддающиеся описанию ощущения еще когда мы с Ильей, крепко взявшись за руки, углублялись в луга – это тоже было чувство какого-то ритмичного сбоя при полном внешнем благополучии...

Вспоминать о последствиях того приключения мне неприятно до сих пор, но сейчас, сидя в голубом «Запоре» рядом с Егором я за какую-то минуту до мелочей восстановила тот день – и сопоставила свою нынешнюю неопределенную тревогу с той, минувшей... Что-то гораздо более серьезное и ужасное готовилось произойти – и я не в силах была ни сама остановить это, ни объяснить что-либо Егору. Я лишь взмолилась:

- А уйти от них мы можем?! – искренне видя бегство единственным спасением в той крайней ситуации.

- Шутите? – весело изумился Егор.

Я поняла весь крайний идиотизм своего вопроса. Егор продолжал:

- Мы сделаем так: раз эти товарищи очень упорно держатся на доброй дистанции, значит, когда мы свернем – у того поворота, видите? – они на несколько секунд выпустят нас из виду. Ну, а этих секунд хватит, чтобы я притормозил, а вы с Иртышом – пусть охраняет, мало ли что – быстренько выпрыгнули и укрылись на опушечке...

- Зачем? – пискнула я, видя, как стремительно приближается поворот на главную дорогу.

- Вами рисковать не хочу, мне-то ничего не грозит, – скороговоркой объяснил Егор. – А сам отъеду чуток, тормозну их, в лица им погляжу и в документы... Когда уедут – вернусь за вами...

- А если не остановятся?! – в панике спросила я.

- Тогда им конец, – Егор невозмутимо забрал из моей сумки сотовый и потряс им: – Далеко не уедут, на ближайшем посту их задержат... Ну, а сейчас... готовьтесь! Иртыш! Охранять! Слушать!

Столько всего хотелось спросить и сказать, но пришлось рвануть непривычно устроенную ручку дверцы и броситься вон. Сразу за мной молча прыгнул Иртыш – и мы благополучно нырнули в придорожные кусты у опушки леса и залегли, наблюдая за вильнувшей в этом месте, но почти сразу выпрямившейся дорогой. Она была перед нами как на ладони. Ученый пес бесшумно припал рядом, для успокоения я положила руку ему на спину – и, отвлекшись, не успела заметить, как намеревалась, номеров скользнувшей мимо «девятки»... А впереди, у замершего голубенького пятнышка нашего умильного авто твердо стояла серая фигурка, протянувшая руку властным останавливающим жестом. Белая машина затормозила, я до слез вглядывалась в два цветных на серой дороге мазка – и не знала, хорошо это или плохо...

Все происходило у меня на глазах – так быстро, что я смогла стать лишь немым свидетелем – вроде Иртыша. Из белой машины с обеих сторон вышли две темные фигуры и, окружив серую, слились с ней; потом вся группа направилась к голубому пятну; чуть

позже две темные фигуры вернулись к белому и растворились в нем. «Девятка» как ни в чем не бывало, покатила дальше, а «Запорожец сиротливо застыл у обочины. Я наблюдала за удалявшейся светлой машиной, пока она не исчезла из виду, а потом, скомандовав Иртышу «Рядом!», выбралась из кустов и направилась к «Запорожцу», вроде бы, совсем не собиравшемуся возвращаться за мной. Егор мог хотя бы помахать мне – так ведь нет, сидел за рулем, даже не поворачиваясь!

И снова Иртыш все понял первым. Наплевав на команду, да и вообще, очевидно, не считая меня вправе давать ему какие-либо команды, он ринулся вперед, но, сделав несколько прыжков, замер, словно налетел на прозрачную стену. А дальше Иртыш полз на брюхе, словно преодолевая страшное сопротивление воздуха – подвывая и скуля, но я уже не смотрела на него. Мой взгляд был прикован к теперь уже отчетливо видимому впереди через заднее стекло круглому неподвижному затылку на водительском месте. Я не могла оторвать от него глаз и шла, как загнипнотизированная, сумев запретить себе думать о том, что именно увижу, дойдя до цели. Но дойти я не успела.

Метров двадцать оставалось пройти, когда перед глазами вспыхнуло, и раскаленная волна тугого воздуха швырнула меня навзничь, ослепив и лишив дыхания, а миг спустя настиг ужасающий грохот, продолжавшийся, казалось, бесконечно... На самом деле, он и секунды не длился. Но бывают секунды, сопоставимые с вечностью – и именно одну из них мне пришлось пережить... Когда глаза мои оказались уже открытыми, а сама я – стоящей на широко расставленных ногах, то в мое сознание проник огромный факел, полыхающий прямо передо мной. Я еще не могла сопоставить это явление с неоспоримым фактом: Егора больше нет на земле, как и последней надежды на помощь...

Я развернулась и пошла к лесу, сообразив вдруг, что быть обнаруженной у горячей машины, имеющей труп в салоне (слово «труп» с именем Егор тоже пока не отождествлялось) – чревато тяжелыми последствиями. Углубившись довольно далеко, я вдруг остановилась и неловко, боком, упала в траву. Я не хлопнулась в традиционный обморок – я обессилела. Одновременно накрылись все системы организма, ведающие крайними степенями эмоций. Мозг отказался обдумывать, сердце – сострадать, душа – терзаться. Даже лежа я чувствовала, как дрожат колени, а хребет словно бы надломился в пояснице. Я ощущала себя сломанным и выброшенным манекеном – и так валялась в траве на боку, не соображая, что нужно хотя бы переменить положение неудобно подвернутых, быстро деревенеющих рук. Связь с миром на время прервалась, я не воспринимала себя в нем, хотя пять животных чувств не утратила. Тем временем жадные июньские комары, обнаружив огромный лакомый кусок в неожиданном месте, дружно кинулись к пункту питания, сигнализируя другим: «Жрать дают!» – и я чувствовала мучительные укусы, страдала от нестерпимого, омерзительного звона – но не могла додуматься до того, что от всего этого можно довольно просто избавиться – и потому терпела, молча и неподвижно.

Спас меня Иртыш. То есть, гораздо позже я поняла, сто нечто скользкое, весьма вонючее и горячее, шурующее по моему лицу – это участливый собачий язык. Он так настойчиво доставлял мне интенсивные неприятные ощущения, что я вынуждена была пошевелиться и выяснить – что же это не дает мне умереть спокойно. Он лежал рядом со мной на брюхе и, поскуливая, с силой лизал мое лицо, разогнав тем самым комаров. Не добившись нужного результата, стал тыкать шерстяной мордой с влажным носом – в лоб, шею, а потом, когда я подала признаки жизни, пружинисто вскочил и, пригнувшись, принялся толкать тяжелой башкой в плечо и ключицу...

Бедный, бедный зверь! Он считал меня, человека, всемогущим, почти таким же божественным, как и его хозяин. Пес, наверное, полагал, что, растолкав, он заставит меня раздобыть ему и обожаемого хозяина, уверен был, что дело, непосильное животному, – легко и просто для этого таинственного, всемогущего существа, легко добывающего пищу и не боящегося огня, дурно пахнущего, издающего непонятные звуки, беспомощного на вид и всевластного на деле... И где мне было объяснить осиротевшей животине, что я

сейчас гораздо слабей ее – у собаки, по крайней мере, есть клыки! – а в данный конкретный момент я, кажется, даже и глупее...

Я обхватила руками теплую пахучую шею и, спрятав лицо в густую теплую шерсть, завyla не хуже, чем мог бы это сделать сам Иртыш, до тех пор крепившийся. Он послушал-послушал какое-то время, и вдруг сам издал низкий скорбный звук, закипевший сначала в животе, но быстро подкативший к горлу – и мы в унисон огласили лес горьким воем. Умный пес, наверное, почувал, что с меня никакого проку: хозяин исчез в пламени безвозвратно, и осталось только оплакивать его. У меня перед духовным взором тоже стоял светлый юношеский образ – и, к тому же, я вспомнила его мать... А ведь я тоже мать, и у меня именно сын... Бросив шею Иртыша, я закрыла лицо руками и разрыдалась по-человечески.

А там, позади, на сельской дороге, уже стоял гул, сверкала мигалка, вякали голоса, хлопали дверцы машин... Я поднялась, вытирая слезы, замолчал Иртыш, выжидательно глядя на меня. Но мне нужен был совет – равного! «Пошли отсюда, Иртыш», – тихо позвала я, и мы сразу направились в противоположную сторону. Я еще не решила, с кем посоветуюсь, но в сердце, наверное, уже приняла решение, потому что ступала неожиданно твердо, хотя и не имея понятия, куда идти. Но здесь Иртыш взял инициативу на себя: опустив нос к земле и вытянув хвост, он уверенно вел меня куда-то. У меня хватило ума довериться инстинкту собаки – и скоро оба мы стояли у железнодорожного полотна. Невдалеке за поворотом послышался характерный звук электрички, отъезжающей от станции – и мы с Иртышом синхронно повернули голову в ту сторону... На станции я опомнилась настолько, что взяла билет до Петербурга не только для себя, но и для собаки, и могла не бояться контролеров: пес выглядел вполне достойно, имея ошейник с заправленным поводком и болтавшийся намордник. Поводок я догадалась взять в руку, а вот оскорбить моего умницу намордником не посмела. Я храбро оглядывалась вокруг, почти ища своего невидимого убийцу, почти готовая бросить ему: «Ну, подходи, гад, если посмеешь!». Но никто подозрительный не появлялся поблизости от нас – и так, под охраной, я добралась до города.

На вокзале снова засосало в сердце: мне стало ясно, что Иртыша я не могу взять с собой – ни навсегда, ни на время. Эта собака не ничейная: пусть нет больше в мире Егора, но ведь есть же семья, и туда его следует вернуть. Вернуть – и тогда – взглянуть в глаза – ей? А вдруг, ей еще не сообщили, значит, придется – рассказать? «Иртыш, – малодушно прошептала я, когда мы оказались в пределах нашего микрорайона. – Иртыш, я не могу с тобой... Ты ведь дойдешь один, да?». В этом я не сомневалась. Я присела на корточки, обняла его большую растерянную голову, прошептала срывающимся голосом: «Домой, Иртыш! Домой!» – а он как будто только того и ждал – затрусил прочь по улице, усеянной солнечными пятнами. «Если оглянется – то сбудется...» – неожиданно загадала я, не дав себе труда определить, чему именно суждено или не суждено сбыться. И он оглянулся, не сбавляя скорости, словно желая убедиться, что я не иду следом.

Я осталась одна в знакомом с детства мирном дворике, где в сухом много лет фонтане играли дети, и поодаль усталая мать размеренно раскачивала маленькие качели с хохочущим на лету чадом, и, как полвека назад, сосредоточенно забивали козла пенсионеры, словно надев для этого занятия спецодежду, в которой играли еще их отцы и деды, коротая старость в той же забаве... Невдалеке виднелась высокая арка, ведущая уже непосредственно в наш дворик – и я решительно двинулась в том направлении.

Вряд ли я обдумала события и сделала логический вывод, что именно сегодня убийцы не станут искать меня здесь, ожидая, что от испуга я теперь лучше залезу в мышиную нору, чем вернусь домой. Они не учли, что меня сразила другая реакция: мне все стало безразлично. После сверх потрясения пришло опустошение, оупение чувств, и вместе с горем отступил страх. Я бестрепетно открыла новым ключом новый замок, поставленный – неужели только вчера? – под командованием Егора, и бестрепетно вошла в пахнущую

пылью и солнцем квартиру. Какое-то время постояла в прихожей, смутно припоминая, как уходила отсюда с ним, еще живым и веселым, ничего не предчувствующим...

Дверь я инстинктивно заперла на совесть, а затем сомнамбулически направилась в свою комнату и, не раздеваясь, свернулась улиткой поверх одеяла. Телефон несколько раз принимался грозно трезвонить – это отец добивался нового крутого разговора с непокорной дочерью (лишившейся, кстати, мобильного), но я не шевелилась, дремучим инстинктом чуя, что исцелиться от страшной душевной раны, полученной сегодня, могу лишь нервно-физическим покоем. Еще не пытаюсь принимать никаких решений – просто лежала, доверчиво плывя внутренним взором по спокойному течению никчемных образов в пастельных тонах – и так незаметно пришли перламутровые июньские сумерки: круглосуточный день вступал в последнюю фазу.

И тогда откуда-то сверху и сбоку, сквозь открытые окна, старые стены и белые потолки со скромной лепниной, моего уха достигла чудная музыка. Я услышала ее не ушами, от рождения к музыке невосприимчивыми, а всегда готовой отозваться душой, и вместе со звуками флейты (а это была она) пришло и воспоминание и знание. В тот самый последний день, в том ноябре, Илья принес с собой кассету и в промежутках между нашими неистовыми сопряжениями поставил послушать. Звуки флейты наполнили комнату, где мы лежали в изнеможении, плаваясь от нежности, и навсегда ассоциировались во мне с той ночью, превратившись в песнь разлуки...

- Если *там* ты все еще захочешь меня видеть, – сказал вдруг Илья, – то легко найдешь по этой мелодии.

- Неужели мы *здесь* больше не встретимся?! – отчаянно спросила я, хотя и знала, что такой вопрос задавать нечестно, не по правилам...

Илья промолчал, лишь на секунду крепче прижав меня к себе...

С тех пор я не слышала не только той мелодии, так и оставшейся в памяти безымянной, но и вообще звуков флейты: для тех, кто специально не ходит на концерты, не так уж и часто они звучат. Но теперь это была не только флейта, но *та* музыка, донесшаяся из *этого* мира, зовущая и указующая путь. Некоторое время я молча слушала ее, чувствуя, как наполняется и расширяется сердце, открываясь навстречу музыке моей любви...

Ну, конечно же! Я завтра поеду в Петергоф! Эта флейта не могла зазвучать – так и именно сегодня – случайно! Это – зов. Я приду, расскажу все и попрошу о помощи. И больше ни о чем не нужно будет волноваться, Илья возьмет все заботы на себя, свяжется с дядей, меня выслушают, спасут, убийц Егора поймают, устроят все. Я сразу успокою Илью, скажу твердо, что нет у меня никаких претензий, хотя и стала я матерью его сына; объясню, что никогда бы не нарушила наш договор, если бы не крайние обстоятельства, если бы не флейта! Он поймет, а может быть и обнимет за плечи – и поможет матери своего ребенка, своей навеки утерянной любимой женщине, пусть утраченному – но ведь состоявшемуся в жизни счастью!

И, подумав обо всем этом, я неожиданно легко и сладко заснула на своей кровати под пристальным взглядом большой бледной луны, едва обозначенной на светлом ночном небе...

Глава 7 Посмертие

*Не мертвые восхвалят Тя, Господи,
Но мы, живши, благословим
Господа отныне и до века.*

Стоило только ступить на платформу в Петергофе, как меня поразило странное ощущение: будто я – умершая душа и посещаю дорогие мне при жизни места. Непреодолимая пропасть, казалось, лежала между мною и беззаботными людьми, традиционно спешащими в парк «на фонтаны». Впрочем, в глазах человека, несущего на горбу и впрямь неподъемную торбу забот, любой другой выглядит веселым бездельником. Солнце все решительней приобретало оттенок раннего вечера, потому что минувшую ночь проспала беспробудно, прихватив потом и утро целиком, и большую часть дня. Все это время никто не тревожил, даже телефон милосердно отменил свою истерику. Я же проснулась в необъяснимо хорошем расположении духа. Казалось, все должно было быть наоборот: вчера на моих глазах убили замечательного, редкого юношу, единственного человека – постороннего! – пожалевшего меня на земле после того, как все близкие отвернулись. Сама я при этом лишилась и последней поддержки, а охота за мною усилилась, явно приближаясь к последней успешной фазе: ведь теперь, по мнению врага, я была деморализована полностью, и готова лучше умереть, чем затравленно убегать от невидимых ловцов... Но враг не знал про меня главного: я любила и была любима. Пусть не состоялась моя с возлюбленным жизнь – по объективным причинам – но никогда, даже при прощании не было наложено определенного запрета на встречу... Как-то само собой подразумевалось, что в случае острой нужды я всегда могу обратиться к Илье – и никогда, никогда не получу отказа... Было и другое, постыдное: оба мы молча знали, что ремиссия у Вари продлится ограниченное время, вторая будет еще короче, а третья... она может и вовсе не наступить. Тогда Илья сам придет ко мне – и даже если в моей жизни в тот момент окажется кто-то промежуточный... – но какая-то по счету ремиссия у Вари все продолжалась, и поэтому в моей крайней надобности я теперь сама шла к нему – семь лет спустя.

Город изменился – к худшему. Его, видите ли, отреставрировали, превратив в сладкий украшенный пряник – причем, украшенный с весьма приблизительным представлением о гармонии. Несколько трогательных старинных двухэтажных домиков, семь лет назад радовавших глаз и веселивших душу своим беззащитным видом, окутанных аурой ушедшей эпохи – были безжалостно превращены в розовые или желтые с белым аляповатые купеческие ларчики. А помнится, мы с Ильей, хотя и редко бывали в Петергофе вместе – по понятной причине – но домики эти по пути к вокзалу неизменно замечали и вежливо с ними здоровались. Каждый из нас изобразил их потом на бумаге – и этюдами такими мы часто менялись... Была одна уютная кафешка на безопасном расстоянии от его дома – случалось нам там и пообедать. Навсегда запомнился почти домашний вкус тамошней рыбной селянки, явно приготовленной с любовью и знанием дела. Кафе исчезло с лица земли, его заменил стереотипный продуктовый магазин с рекламой колы и грязной белой кошкой, свернувшейся на подоконнике...

Я плохо узнавала окружающее, но может, оно и к лучшему: ведь острой болью дергает сердце всякий раз, когда взгляд падает на знакомые вещи, накрепко связанные с чем-то бесконечно милым, но безвозвратно утраченным. Потеряв близкого человека, некоторые создают едва ли не музей покойного в свое личное пользование – и успешно годами растравливают сердце, вновь и вновь заливая солеными слезами едва начинающую рубцеваться рану, пока не превратят ее в злокачественную язву. Более мужественные, осознавая, что умершего не вернешь, а жизнь нужно как-то продолжать – меняют квартиры, уезжают в чужие места, никак с ушедшим не связанные – и так постепенно исцеляются. Это не означает забвения и утраты любви, но – мужество жить дальше. Таким дорогим покойником было для меня наше с Ильей минувшее счастье – смерть истинно дорогих людей (мать я едва помнила) пока не касалась меня. Но, избегая посещения материальных «музеев» – счастливых мест, закопав поглубже на антресоли коробки и чемоданы с «реликвиями», - я целую галерею высокого искусства любви создала в своем сердце. Теперь сквозь семилетний «культурный слой» все равно просвечивали драгоценные черепки былого: здесь он сказал, там я посмотрела... Нахлынувшие

воспоминания комом поднялись к горлу, слезы закипели, подступая к глазам. Пока добиралась до дома Ильи, где была только раз мимолетно и неприятно конспиративно, я уже почти забыла о цели моего путешествия. Господи, да не спасения от убийцы я на самом деле шла искать! Я шла – обнять, прижаться и провить: ну где же ты, где?! Я не могу без тебя больше! Мне мало только нашего сына, мне нужен ты!!!

Вот сейчас. Вот подъезд старого дома с широкими пролетами и огромными овальными окнами. Я не придумывала слов заранее, зная, что в миг встречи сердце подскажет их само. Более того, уверенность, что он непременно дома и непременно один была совершенно непоколебимой. Ну, даже если Варя там, то все эти слова будут сказаны чуть позже – когда он выйдет со мной из дома...

Код на парадной, по счастью, оказался сломан – иначе торчать бы мне под дверью в бессмысленном ожидании. Лифт все тот же, умилительно старинный, с ажурными решетками и деревянными дверцами – такой был в моем детстве в доме у бабушки и, помню, я любила, вызвав лифт на верхний этаж, ожидать его приближения у решетки – и он постепенно выныривал из шахты, как огромное тяжелое чудовище из морских глубин...

Но этот лифт ждал меня на первом этаже, что показалось хорошим знаком, вроде «Карета подана, сударыня»... Поехали! Сердце захолонуло где-то на уровне четвертого этажа, а в голову вступил естественный, неизвестно где раньше блуждавший вопрос: «Мать честная, что ж я делаю-то?!». Но было поздно: тряхнуло, клацнуло, замерло. Может, нажать кнопку первого этажа и бежать, пока не поздно?! Но кто-то снаружи уверенно повернул ручку и распахнул железную дверь; не успела я испугаться, как, продравшись сквозь две болтающиеся дверцы, прямо под ноги мне вкатилась серо-мохнатая собачонка, а сразу за ней попер сердитый пузатый пенсионер, немало, кажется, удивившийся моему безмолвному присутствию в закрытом лифте... Я протиснулась мимо него на лестничную клетку, хлопнув дверью вслед очаровательной парочке.

Лифт загудел вниз, а я стояла прямо перед заветной дверью, понимая, что если не позвоню сразу, то могут последовать поистине ужасные мои страдания. Не дав себе времени на раздумья, я храбро ткнула пальцем в синюю кнопку и, почти в тот же миг услышав за дверью шорох, вдруг испытала приступ настоящей гадкой тошноты – от леденящего страха.

- Кто? – донесся из потусторонности энергичный женский голос.

«Все-таки Варя дома», – мелькнуло в голове, меж тем как приятным голосом лжеца, как оказалось, заранее заготовленным на такой случай, я отвечала:

- К Илье Евгеньевичу по делу, откройте, пожалуйста – и сразу услышала дружелюбные металлические звуки.

Это была не Варя. Женщина ее даже не напоминала, а, скорей, являлась полной противоположностью: полная румяная блондинка в пышных кудельках, с перламутровыми губами. Из-за ее спины выглядывал любопытный мальчишка, на первый взгляд, ровесник моего. Готовясь услышать фразу «Он здесь больше не проживает», я быстро прикидывала, какими способами выживать новый адрес. Открыла рот, чтобы начать извиняться, да так и не закрыла, потому что услышала:

- Илья Евгеньевич вышел ненадолго. Но вы проходите. Он сейчас должен вернуться.

Оказывается, действительно бывают у людей минуты такой обескураженности, что мозг отказывается обрабатывать лавину поступающей информации. Именно в этом состоянии я механически переступила порог.

- А вы кто ему будете? – приветливо спросила симпатичная блондинка.

- Я тоже художник, мое имя Серафима Долохова, и мне, собственно, не совсем Илья нужен, а больше его дядя... – выложила я на одном дыхании фразу, предназначавшуюся ранее Варя, меня за семь лет, конечно, забывшей.

- Очень приятно. А я – жена Ильи, меня зовут Людмила, – улыбнулась женщина. – А это – сыночек наш, Олежка... Ой, да что ж это я вас в прихожей держу! Пройдите-пройдите! Сейчас я кофейку сооружу, пока Илька подойдет...

Илька! Да ведь именно я это имя придумала! Только я так его называла! Я пошатнулась... В той ситуации я не смогла бы задать никаких вопросов самостоятельно, но судьба, верно, заранее решила поставить меня в полную известность, и почти насильно вложила в уста слова, да еще и приладила гаденькую улыбочку:

- Сколько тебе лет, Олежка? – ненормально просюсюкала я.

Ребенок застеснялся и набычился.

- Мно-ого! – радостно доложила его мать. – В сентябре шесть будет... На будущий год в школу пойдем!

Даже с элементарной арифметикой у меня всегда случались нелады, но тут в голове щелкнули невидимые счеты: а моему Васе – в августе. Значит, Олежка на месяц моложе, значит... А может, это не его ребенок, а только ее?!!

- Вы давно женаты? – с несвойственной мне бестрепетностью задала я неделикатный вопрос, смягчив его, правда, поправкой: – Я это к тому, что я его первую жену знала, Варю...

Людмила не обиделась: она, вероятно, вообще по природе своей была лишена способности реагировать на разные мелкие уколы: так ведь и душевное равновесие утратить недолго.

- Женаты... да около семи лет... – спокойно сообщила она.

Я вообще перестала понимать происходящее и еле выдохнула:

- А... А Варя?..

- А что Варя? – невозмутимо удивилась она. – Когда он... – кивнула на комнату, когда успел ретироваться сын, – тут, – опустила глаза на свой живот, показавшийся мне сразу непорожним, – нарисовался, так что делать было – развестись ему с ней пришлось...

«Нарисовался» он у нее через месяц после моего... Не в первый же день знакомства... Выходит, когда мы с ним еще... Он с ней уже... Нет, невозможно. Бред какой-то...

- Но ведь она... У нее... – пробормотала я.

- Жопа на боку была, – с неожиданной злостью закончила Людмила. – И что? Из-за этого следовало ребенка без отца оставить?! Я пришла к ней сама и сказала – мол, пока не залетела, тебя жалели, ничего не говорили... А уж раз так вышло, то уж извини, дорогуша, ребенку отец нужен!

- И... где она сейчас? – зачем-то спросила я.

- Ну... – на секунду замялась Людмила. – Короче... Она как-то быстро так померла, что даже квартиру менять не пришлось, все мне... в смысле – Илье... досталось... Да вы что это – осуждать меня, кажется, вздумали? – вдруг вскинулась эта бесхитростная женщина. – Ах, извините, я забыла, что вы ее знали, подружки, стало быть, были... Ну, может, и не очень хорошо с ней вышло – так ведь ради ребенка, поймите! Я же, пока не была беременная, никакого развода у Ильки не требовала – что я, не понимаю, что ли? Месяца три тайком встречались – и молчала, ничего не просила, конечно, жалко ее было, а как вы думаете... – Людмила честно смотрела на мир большими, серыми, чуть выпуклыми глазами, твердо уверенная или удачно убедившая себя в своей правоте.

Красивая женщина, Кустодиевский типаж; написать портрет в обнаженном виде, с распущенными волосами... Так ведь Илья, наверное, написал уж и не один... «Портрет жены художника»... Три месяца встречались до ее беременности... И, выходит, первые два – параллельно со мной... И на самом деле расстались мы с Ильей, потому что он плотно «подсел» на нее, а вовсе не из-за каких-то там нравственных терзаний... Конечно, смертельно больная жена и две постоянные любовницы – это как-то чересчур, следовало оставить ту, что поновее...

Я трепетно относилась к Варе с ее страшной болезнью – жить-то ей оставалось всего ничего, а эта, другая, не смутилась, поступив по-женски мудро: там – отработанный материал, на свалку его, а на освободившемся месте вырастет крепкая полная семья (вот уж и второе чадо на подходе). А я – я просто дура. Я сделала своего сына безотцовщиной, хотя забеременела на месяц раньше. Стоило только позвонить и сказать... И не она бы

сейчас хозяйкой стояла в прихожей... Нет, что-то не то... Он же предавал меня – с ней, значит, не любил? А жену – с нами обеими... Сволочь-то какая! А я семь лет прожила в мире своей любви, веря, что... Нет, нет, все не так – сейчас придет Илья, мы поговорим, все разъяснится – почему я должна верить этой жирной стерве?!!

- Ой, да что это мы все в прихожей стоим? – меж делом спохватилась та.

- Я лучше пойду, – убито сказала я, разворачиваясь к двери.

Я действительно еще собиралась перехватить Илью в подъезде и выяснить... Что выяснить?

- Обиделись за Варю? – услышала я, когда уже преодолела один пролет вниз, забыв о существовании лифта. – Напрасно вы так, сами бы подумали! Ведь дети – прежде всего!

- Да, да, – деревянно согласилась я. – Конечно, прежде... – и перешла на рысистую скачь.

Перед глазами постепенно темнело. Сквозь эту неполную темноту я различила, как до дрожи знакомая фигура быстро миновала проход от двери до лифта. Я еще находилась пролетом выше и могла бы крикнуть – не знаю что – но дверь уже грохнула, немой крик ударил мне изнутри по зубам – и лифт лениво пополз вверх.

«Лучше умру, чем увижу его еще раз!» – вдруг прозрела я, но поистине страшная душевная боль ту же секунду помutilа мой разум. Я закричала так, как если б это была боль физическая – «А-а!» – на низкой звериной ноте и, зажмурив глаза, обхватив голову руками, бросилась прочь от проклятого места, не видя ни белого света, ни дороги. Довольно тяжелая сумка, соскользнув с плеча, теперь размеренно стучала меня по бедру, мешая бежать. «Идите сюда, идите! – беззвучно молила я своих убийц, приходивших раньше так не вовремя. – Я не буду убегать, стреляйте, режьте! Не хочу больше жить, не хочу, не хочу!!!» – пугая воем прохожих, я слепо неслась по этому ненавистному теперь городу, прочь от него, от Ильи, от самой себя.

Смутно помню мелькавшие окраинные дома, потом рельсы. Почему-то ржавые, деревянные шпалы, поросшие буйной травой... Мне казалось, что если я останвлюсь, то задумаюсь, а если задумаюсь, то не выдержу: приступит какая-нибудь такая мука, что со мной произойдет сто-то невиданное, неслыханное... Поэтому необходимо было изнурить тело, довести его до последней точки изнеможения, чтобы только не спел включиться разум, иначе смерть... Смерть? А почему, собственно, нет? Я остановилась, как подстреленная, и медленно огляделась, обнаружив себя стоящей в траве неподалеку от живописного зеленого озера.

Предзакатный воздух колебался от человеческих голосов. Я оказалась по соседству с диким пляже, полным резвящихся людей: долгожданное тепло, осчастливившее наши края после того, как надежду на полноценное лето мы уже потеряли, выгнало народ ближе к холодной пока воде... Я силилась разделить это пестрое человеческое собрание на отдельные особи: там что-то яркое с визгом носилось по кромке воды, тут с тугим уханьем летал от ладоней к ладоням желтый надувной мяч, здесь, озверев от ледяной влаги, с мнимо-свиристым лаем скакала черная лохматая собака, лоснясь мокрой шерстью в тяжелых лучах оранжевого солнца... И никто, никто не собирался умирать. В отличие от меня. Причем, смерть вдруг стала видеться чем-то естественным и совсем не страшным – если, конечно, за гранью жизни не зазвучит вдруг флейта... Это будет означать, что я оказалась в аду.

Я села в траву и, тупо глядя прямо перед собой, стала соображать – старательно обходя мыслями недавнее происшествие, по сравнению с которым все, кроме кровотокающей памяти о матери Егора, казалось теперь второстепенным и легкомысленным. И вот что я решила: на чью-то помощь мне рассчитывать больше не приходится – но она уж и не нужна мне. После надругательства, учиненного только что над моей жизнью, я оставаться в ней больше не хочу. И мне вовсе не нужно накладывать на себя руки, потому что эту услугу жаждет оказать мне кто-то другой – и какая теперь разница, кто и почему! Сегодня среда, и уже вечерет. Отец мой привезет ребенка в

субботу днем – значит, нужно дать возможность убить меня раньше, чем придется ликвидировать как свидетелей заодно и родственников. Но нельзя допустить, чтобы меня убили дома: вернуться с дачи и увидеть в квартире труп матери – такое может оказаться непоправимым шоком для мальчика. Значит, придется ждать убийц в своем подъезде – оттуда мой труп, по крайней мере, к утру пятницы уже должны будут убрать. Приняв окончательное решение, я совершенно успокоилась и даже испытала некоторое любопытство... Сколько разных умных книг я прочла о людях, так или иначе ожидавших смерти! Чего они только не пережили у садистов-авторов! Я же не испытывала ровно ничего, и даже специально спросила себя: неужели тебе не хочется хотя бы ребенка увидеть на прощание?! Нет, мне не хотелось увидеть ребенка. Не потому, что с ним и прямо, и косвенно, было связано предательство его отца, не потому, что я боялась, увидев его – передумать... Просто мне не хотелось этого, как не хотелось ничего другого. У меня не возникало последнего желания, про которое мне что-то не верится, что его исполняли для приговоренных к казни, потому что по-настоящему, оказывается, хочется только одного: если уж встала на пути непробиваемой глыбой некая неизбежность, то пусть уж лучше она скорее упадет, и все останется позади. Так и я мечтала просто о том, чтобы все поскорее закончилось.... Для этого нужно было вернуться в город как можно быстрее, добраться до своего подъезда и ждать – во всей видимости, очень недолго... Если там уже не ждут меня, что оказалось бы и легче и ловчее. Нужно было трогаться в обратный путь – вот только дат чуть-чуть отдохнуть натруженными ногам – и я прилегла в траве набок, положив голову на локоть и прикрыв на минутку глаза...

И оказалась среди ночи в южных горах. То, что я нахожусь на юге, я вычислила по неестественно огромным звездам и чересчур уж бархатной черноте неба. Страшным казалось только то, что горы были абсолютно голыми, базальтово блестящими под светом луны, зависшей над ними идеально ровным пятнистым диском – только пятна имели незнакомые очертания, словно верная спутница Земли, наконец, соизволила повернуться к ней своей обратной стороной. Лишь взглядевшись пристальней, я обнаружила, что никакие это не пятна, а очертания человеческой фигуры, стоящей на горе прямо между мной и луною. Голова человека была обнажена, с плеч до пят ниспадала длинная подпоясанная роба. Но на этот раз мне все стало понятно сразу.

- Франциск! – громко позвала я, но фигура не шевельнулась.

«Я слишком далеко внизу, он не слышит, потому что молится, – прошла вполне здравая мысль. – Нужно лезть к нему».

И я начала исполнять это немедленно. Но как только я приступила к восхождению, надежные на вид скальные глыбы вдруг стали неустойчивыми, то и дело уворачиваясь у меня из-под ног, дробясь на более мелкие плиты, едва дававшие возможность уместить на них стопу – и сразу крошившиеся под ней. Но я упрямо лезла наверх, то и дело повисая на локтях и теряя равновесие, а черная неподвижная фигура безмолвно стояла на вершине – все преодолевшая, и оттого совершенная.

«Вдруг он уйдет раньше, чем я доберусь?!» – полоснуло меня, и я опять закричала:

- Франциск! Святой Франциск, не уходи, пожалуйста!!! – и опять твердь исчезла подо мной. – Меня все предали, Франциск! Даже сама любовь надо мной надсмеялась! И теперь у меня нет другой защиты! – надрывалась я, цепляясь за гладкую поверхность камня голой рукой – а он шатался и трескался с ужасным звуком. И тут я поняла, что вся огромная гора разваливается, и что это не просто гора, а гора, не предназначенная для меня.

- Франциск, помоги! – из последних сил воззвала я, уже обрушиваясь в бездну вместе с обломками скал – но он все также неколебимо стоял в светлом круге луны, и не обернулся ко мне... А меня смяло и швырнуло сквозь темноту – в холод – лицом на острые камни – и, в последнем ужасе взыв, я открыла глаза.

Я лежала ничком в невысокой серой траве, и кругом действительно стоял космический холод, потому что давно уже настала хотя и традиционно «белая», но

пасмурная ночь. Тишина звенела множеством типично ночных, тревожных звуков, но среди них не слышалось ни шагов, ни голосов, ни музыки – все словно вымерло. Я пошевелилась – и сразу охнула от невыносимой боли: несколько часов пролежав в оцепенении кошмарного сна, тело затекло и болело целиком, не размениваясь на отдельные участки. Вся я превратилась в один большой синяк. Пришлось стиснуть зубы и постепенно, шаг за шагом, преодолеть пропасть между горизонтальным и вертикальным положением. Лишь через четверть, наверное, часа я стояла, мотая головой и мыча – а потом еще вынуждена была нагнуться, чтобы поднять сумку. Странно, что не обобрали: ведь на виду лежала, за мертвецки пьяную должны были принять... Ситуация осложнилась еще и тем, что, не помня, как добралась сюда, я, естественно, понятия не имела, где нахожусь, и в какую сторону следует идти. Я взглянула на часы, убедилась, что они показывают половину третьего ночи, и даже откопала в себе достаточно юмора, чтобы усмехнуться наметившейся традиции проводить ночи на пустынных пляжах вдали от цивилизации... Ведь только две ночи назад – неужели две, кажется, год прошел! – я ночевала у подобного озера на Крестовском! Никакие более сложные мысли в голову просто не помещались, лишь чутье подсказывало, что следует двигаться, идти, предпринимать какие-либо действия.

Сделав несколько неуверенных шагов, я обнаружила, что стою на тропинке – и без лишних раздумий направилась по ней. Тропинка предательски свернула в густую рощицу и полого побежала под уклон. Деваться мне было все равно некуда, так что пришлось испытать на себе точный смысл изречения «куда кривая выведет». Вскоре впереди зашумело – ровно, спокойно и мощно. Мне знаком был с детства этот шум: так отражает окружающие звуки, добавляя к ним свои, неповторимые, только море – а в моем случае это мог быть Финский залив. Выходить на очередной пляж мне показалось уже смешным, и я, плюнув, развернулась и побрела опять по той же тропинке среди жемчужно-серого полумрака прибрежной рощи.

Но вдруг замерла, поперхнувшись собственным сердцем: чуть правее, в глубине, среди деревьев, стоял, глядя на меня, человек, и было это уже не во сне, как давеча с Франциском, а наяву. Но испуг оказался лишь следствием неожиданности: в следующий момент стало ясно, что бояться нечего, потому что человек этот – седенький дедушка с белой бородой, совсем согбенный, но дорогу к станции показать вполне способный, раз уж забрел сюда ночью невесть зачем.

Свернув с тропы прямо в росистую траву, я зашагала в сторону неподвижно стоявшего старичка, очень ясно различая его фигуру меж стволов дремавших берез. И когда я уже собралась было крикнуть: «Дедушка, послушайте!» – миновав особо густой куст, увидела его прямо перед собой – и непроизвольно расхохоталась нервным смехом. Никакого старичка не было. А была единственная уцелевшая стена разоренной церкви, возвышавшаяся среди бурьяном поросших руин, а дедушка оказался фреской, изображавшей белобородого старца в коричневом кафтане, с котомкой за спиной, в лаптях с онучами и с суковатой палкой. На палку он опирался – а без нее, верно, упал бы ничком, потому что скрючен был, несчастный пополам под прямым углом. Над головой святого стояло призрачное сияние, и огромные, едва ли не живые глаза смотрели скорбно и строго. Неизвестный художник вложил в изображение этого взгляда весь свой немалый талант до последней капли – и творение его пережило десятилетия под голым небом. У меня захватило дух от реалистичности изображения, еще в пяти метрах принимаемого за живого человека. Я невольно приблизилась, желая хорошенько разглядеть неожиданную находку, и увидела, что в сиянии нимба выведены вполне различимые буквы. Немного напрягшись, я прочла их: «Св. Серафимъ Саровскій» – и закрыла лицо руками. Это имя я впервые слышала от Жени, мамы Егора, и если бы он не умер, я бы не поехала в Петергоф, не убежала бы в смертном отчаянье, не заснула бы на голой земле, не ушла бы по неизвестной тропинке, не стояла бы сейчас перед ним... Выходит – это он так звал меня? Звал, зная, что иначе – никогда не приду?

Уронив руки, я хотела поднять глаза на фреску, но обнаружила, что не имею сил взглянуть в самый лик святого, что не выдержу, если столкнусь с ним взглядом. Меня начало будто пригибать книзу невыносимой тяжестью – пока ноги не подломились в коленях. И тогда я прислонилась головой к прохладной стене, прижалась щекой к ногам Серафима и прошептала:

- Я здесь, Серафимушка... Я пришла... Ты только скажи мне, что я должна делать... – и из-под плотно зажмуренных век сразу теплой волной толкнулись наружу слезы.

Так я не плакала раньше никогда – да и вообще мало и редко плакала. Слезы лились горьким потоком не из глаз – их мучительно исторгало само надорвавшееся сердце.

Уже в другом, огненном наряде явилось далеко на востоке солнце, словно плеснув яркой краски на березовую рощу – а я все еще рыдала, не вытирая слез... Но, почувствовав свет на своем лице, встрепенулась. Оглядела рощу, траву, печальные руины – и увидела, что фреска, собственно, и не фреска. Передо мной уныло торчала неровная серая стена с едва проступающими на ней неясными, почти совсем стертymi, почти неразличимыми контурами...

Глава 8 Профессор

*И человек в чести сый
не разуме, приложися скотом
несмысленным и уподобися им.*

Пс. 48, ст.21

Кто-нибудь задумывался над тем, что по звуку наипростейшего дверного звонка можно узнать немного о персоне, нажимающей кнопку? Поскольку последние два года отворение дверей по звонку входит в мои прямые, валютой оплачиваемые обязанности, я наловчилась определять не только, кто пришел (если человек более или менее регулярно появляется), но и... нет, не черты характера – это было бы уж слишком – а общую направленность личности, что ли... Два длинных напористых звонка, один сразу за другим, для непосвященного свидетельствуют о кажущейся уверенности звонящего – раз он так по-хозяйски рвется в чужую дверь. А ведь все наоборот! Нет нужды уверенному в себе человеку так громко заявлять о своем прибытии, заставляя тех, внутри, вздрагивать и опрометью кидаться к двери – лишь бы нетерпеливые звонки не повторились. Значит, человек безотчетно боится, что его вообще не услышат, а если услышат, то не придадут значения, и придется неопределенно долго сироткой торчать под дверь... Значит, звонящий болезненно, патологически горд и самолюбив, если чувствительным для себя унижением считает постоять чуть-чуть на площадке перед немой дверью. А раз горд и самолюбив, то, скорей всего, никого, кроме себя самого, не любит, на всех глядит свысока, и тяжкая мука для него – попросить даже о малости. Именно таким образом всегда звонила Сима – пренеприятнейшая особа, так называемый репетитор Славика по рисованию. А на самом деле – бездарная и бездельная художница-недоучка, из тех, что не могут заработать на жизнь сколько-нибудь регулярным трудом и до седых волос перебиваются случайными заработками... Работ Симы я не видела, врать не буду, но ее незначительность бросается в глаза: такой поверхностный человек априори не способен создать что-либо ценное. Ее наивные рассказы о полотне (едва ли не шесть на четыре, честное слово!), над которым она, якобы, трудится (впрочем, может, и трудится – Сизиф тоже трудился), изображающем жизнь Франциска Ассизского, заставляли меня прикрывать кашлем невежливые смешки. Помилуйте – где Франциск, и где эта потасканная, отчаянно и безуспешно молодящаяся женщина «далеко за тридцать», не сделавшая до сих пор ничего путного в жизни. Единственное, что она сумела сделать – так это прижить ребенка без мужа: замуж ее не

взяли даже «по залету», как теперь говорят... И вот она, бедная, надрывается, ищет заработка, но не просто так – а чтоб непременно своего достоинства «человека искусства» не уронить. Небось, домработницей в дом к «новым русским» не найдется ради своего сына, как это сделала я, – ради внука... И это притом, что она – никто, а я... Господи – да ведь доктор наук, профессор... – когда-то. И звали меня – Анна Григорьевна, как жену Достоевского, а теперь хозяйка, взбалмошная дебилка с вечно вываленным наружу языком, (она считает, что так «сексуальнее», дура) визжит на весь дом: «А-аня!!! Ко-офе!!!» – и я несусь рысью, позабыв всякую гордость: уже к осени я надеюсь собрать нужную сумму Эдику на операцию... Но и потом этот визг мне слышать еще годы и годы: того же Эдичку ведь и поднимать и лечить бесконечно... Это если мадам хозяйка не изволит прогневаться и уволить – что ей до того, что в одной из детских «истребительных» больниц медленно умирает чудный мальчик с огромными сияющими глазами – лучше б вместо него померло с десятков таких «Славиков», вроде того, которого она родила – никто бы и не заметил, ну, может, дышать чуть легче бы стало... Да и «Васенек», вроде Симиного: при такой-то мамаше – что путного...

«Интересно, зачем она пришла? – размышляла я по дороге к двери. – Славика отец увез, деньги ей отдал, я сама видела... Забыть здесь ничего не забыла – что принесла ее нелегкая?».

Когда я открыла дверь, то сразу заметила, что в Симе что-то изменилось: глаз у меня на такие вещи наметанный. Одета просто – в джинсы и свитер какой-то, едва ли не с Апраксина рынка, на плече – рюкзачок, а лицо... Да не в зубы ли ей дали, а? Вроде, челюсть подпухла и цветом потемнее... Точно! Ну, ясно! Сына с глаз долой отправила восвояси – и на гулянку – или как там это у них называется, – «богемную тусовку». Результат: пары зубов не хватает – приласкал, наверное, такой же «человек искусства», плюс деньги может, прокутила, а может, потеряла по пьяни, или просто отняли... Теперь вот пришла в надежде, что хозяева в долг дадут в счет будущих уроков. А что – будь здесь Марьяна – вполне могла бы и одолжить, а то и подарить, расчувствовавшись. Она вообще, имея в руках пачку денег, любит изображать «фигуру сеятеля»... Но хозяев не было, а мое дело маленькое, я даже в дверь Симу сначала не пустила:

- Все уехали. Вам нужно было сначала позвонить.

И вот тут она меня удивила. Виногато вскинула тусклые, ненакрашенные глаза:

- А я к вам, Анна Григорьевна. Сегодня четверг – я знала, что вы здесь будете...

«Ну, какова нахалка! У меня занять надеется! Совсем с ума посходили!» – успела подумать я, а она уж боком протиснулась в квартиру.

Я была, вроде, на правах хозяйки – за временным отсутствием таковой – и не знала, то ли мне сразу заявить, что денег не дам, то ли пригласить в гостиную для приличия: не дикари, все же... Но в гостиную я не стремилась, начала сразу же:

- Положение у меня совершенно безвыходное...

Я улыбнулась – надеюсь, не очень злорадно получилось: моя догадка оправдывалась. Но после Симиных слов я снова встала в тупик:

- Мне срочно нужен номер сотового Алексея Петровича... У Марьяны не отвечает, а я... Мне... Мне важно, очень важно! У вас есть, я знаю, вы ведь дом... – запнулась и быстро сообразила, как озвучить мою должность наименее оскорбительно: – домоправительница. И он, конечно, дал вам свой номер на всякий случай...

- Дал, – безжалостно подтвердила я. – Только не для того, чтобы я передавала его кому попало.

- Мне очень нужно, поверьте! – принялась уговаривать Сима, и даже где-то глубоко в ее голосе послышались слезы: ну надо же, как припекло бабу! Ничего, будет знать, почем фунт лиха – не все же мне одной хлебать!

- Ничем не могу помочь, – отчеканила я. – Если бы Алексей Петрович хотел, чтобы у вас был его номер, он сам бы вам его сообщил.

- Хорошо, хорошо, – бормотала Сима, как в горячке. – Вы ему сейчас сами позвоните и спросите разрешения... Скажите, что я пришла, и мне очень, очень надо с ним переговорить...

- Вам – надо, а ему – вряд ли, – наслаждалась ситуацией я: не каждый день, согласитесь, выпадает случай поставить на место зарвавшуюся и зажавшуюся... да что там, назовем вещи своими именами: девицу легкого поведения. – И беспокоить его без крайней надобности Алексей Петрович не велел. Я, собственно, и не звонила ему ни разу – да и теперь ничего экстренного не вижу.

- Анна Григорьевна! Вы губите меня! – вдруг неприличным, надрывным голосом выкрикнула репетиторша.

- Ах, как драматично! – не удержалась я. – А речь-то о каких-нибудь ста долларах!

- Долларах? – она уставилась мне в лицо, будто не понимая, о чем речь.

- Да вы же хотите через него добраться до Марьяны и денег попросить! Думаете, я не догадываюсь?

- Денег... Нет, я... Мне нужна помощь... – пролепетала она.

- Милочка, ну какая помощь! – повысила голос я. – Сами посудите, кто вы, а кто он. Алексей Петрович вас и в лицо-то, неверное, не помнит. Так вот он сейчас разбежится и помчится заниматься вашими мелкими делишками. Делать ему больше нечего!

Слезы полились по ее лицу без всяких предварительных признаков, вроде покраснения носа – да такие обильные, что я даже удивилась. Но мне не было ее жаль: у нее были и есть другие жалельщики – что же она не бежит к ним, а беспокоит практически чужих людей! Те, к которым ей сейчас следовало бы обращаться – они ее целовали, на их плечах – разных, многих – она проспала бесчисленные ночи, им шептала уста к устами одни и те же слова, всегда оказывающиеся ложью, а я... Что же она к ним не бежит, а пришла ко мне, которую никто никогда – так...

Потому что нас воспитывали – иначе. Да, иначе, и почти все мы были чистыми. Мы, конечно, мечтали, смеялись, на что-то намекали невинными губами, а потом выходили замуж и знали: он – один; это – навсегда; что бы ни было – любовь в жизни у женщины случается один раз, и мы обязаны ее хранить. Да, были, конечно, где-то в параллельном пространстве и другие девушки, но очень немногочисленные, про которых мы лишь догадывались, что они уже что-то такое испытали, нехорошее и стыдное, – и инстинктивно сторонились таких, боясь замараться. Они существовали где-то отдельно, в своем общем нечистом мирке, а большинство из нас были – не такие. И я тоже. Я с детства была приучена такими – брезговать. Изменившееся время, рухнувшая мораль, разбитые семьи, растоптанные мечты, изгаженные достижения... Всего этого я хлебнула к моим шестидесяти пяти сполна – но не вижу повода менять свое мировоззрение. Просто не может быть такого, что сорок лет назад даже здороваться с такой женщиной в нашем кругу считалось дурно, а теперь вдруг – нормально. Нет, это мир стал ненормальным, и пусть он принудил меня материально приспособиться к нему – ради ребенка! – но на совесть мою он посягать не смеет. И как тьму лет назад, будучи в возрасте Симы, я бы не пожалела ее, потому что тогда она почти официально не имела бы права на чужую жалость, так не должна была жалеть и теперь. Она сама выбрала путь – в ногу со своим жалким поколением – вот пусть и ищет подмоги у себе подобных, а нас, людей, сохранивших подлинную чистоту, не обдает смрадным дыханием растления.

- Вы не имеете права так поступать со мной! – тем временем, почти что взяв себя в руки, говорила она. – Вы обязаны хотя бы выслушать. Вы не можете лишить меня последней надежды.

«И милость к падшим призывал» – вспомнились мне бессмертные слова Пушкина. Что ж, придется, похоже, и мне проявить милость, а то ведь не отстанет. Или этот, как его теперь называют, гуманизм. Тем более что работа не волк. Сначала выслушаю, заодно и отдохну, а потом уж выгоню, решила я и сухо пригласила:

- Пройдемте, пожалуй, в гостиную. Не в холле же мне выслушивать ваши излияния.

Она пошла вперед, я чуть поотстала. Даже по походке было видно, что Сима хоть и придавлена тяжелой заботой, но женское, сучье, все равно доминирует в ней: шла как скользила, гордо неся свой сомнительный бюст, независимо подняя глупую стриженую голову. Там, в черепной коробке, неподвижно лежит небольшой серенький мозг с несколькими нехитрыми извилинами. Но он много чего помнит: какие-нибудь похабные прогулки с обжиманием в подворотнях, гнилые поцелуи, оскверняющие сам темный угол, в котором совершаются, паскудные соития с потными самцами, бесстыдные слова, заведомо невыполнимые клятвы – и так со многими, многими, многими...

Ты что, думаешь, меня не любили?! Думаешь, я старая, страшная, никому не нужная?! Взбесившаяся старая дева, да?! Думаешь, я лопаюсь от зависти, глядя на твой непристойный зад, обтянутый джинсой, чтоб привлечь очередной похотливый взгляд? Нет, у меня тоже было, было, было, и никто не посмеет отнять это, потому что оно живет уже сорок три года и умрет вместе со мной!

Я тоже помню прогулки белой ночью по Неве – только целомудренно возвышенные – со стихами, с пылающими щеками, с дрожью, проходившей по всему телу от случайного соприкосновения плеч... Помню его робкий голос и единственный поцелуй – легкий и невесомый. Слово не тела поцеловались, а души. Один и навсегда.

Мы учились на биофаке в одной группе. И с первого разговора наедине (мягкий тяжелый снег лениво планировал с неба кусками величиной с ладонь, голубые нимбы стояли вокруг шаров уличных фонарей) уже знали, что предназначены друг другу. Даже семьи пережили одно и то же: матери умерли в блокаду голодом, а отцы с той же войны – не вернулись. Из одного микрорайона ушли они тем давним июнем в народное ополчение, и оба легли подо Мгой при отступлении – так что, возможно, знали друг друга. Обоих нас вырастили уцелевшие в своих деревнях бабушки: меня – по материнской линии, его – по отцовской, так что дома наши находились далеко под Ленинградом: мой – по соседству от Луги, а его – в районе Ораниенбаума. Жили мы в общежитии, но, готовясь стать биологами и выбрав из всей флоры и фауны в качестве объекта специализации – плоских червей, не особо страшились возвращения в дальний пригород после диплома...

Весь курс знал, что мы с Аликом жених и невеста. Над нами, случалось, подшучивали, удивлялись затянувшемуся периоду ухаживаний (а мы просто хотели сначала закончить Университет), и однажды, когда в чужой многокомнатной квартире дружной группой справляли Новый Год, заботливая хозяйка, уж не знаю, с умыслом или без, постелила нам в одной комнате. Как я была оскорблена тогда, как рыдала! Ведь она тем самым – допустила! Предположила нечистоту в наших отношениях! Меж тем как наши губы знали только один полувздых-полупоцелуй... Алик понял меня: молча взял за руку, вывел прочь из проклятой квартиры, и мы до утра блаженно бродили по крепко спящему послепраздничным сном городу. В то утро мы и произнесли те единственные, навечные слова, от которых не может освободить ни смерть, ни время. Мы стояли в скверике у Никольского собора совсем ранним, едва-едва начавшим золотиться утром и почему-то именно там взаимно поклялись оставаться верными друг другу, что бы ни случилось, как бы ни повернула жизнь, как бы ни потряслась земля, какую бы разлуку ни уготовала судьба. Одновременно подняя глаза на вдруг разом вспыхнувшие кресты (словно в знак того, что где-то там наша клятва услышана и принята), мы соединили горячие вопреки довольно крепкому морозу, руки...

А потом настала весна. Больше похожая на осень, с серым снегом до конца апреля, с пронизывающими, никак не желавшими утихомириться мокрыми ветрами... И в одно тусклое, воющее ветром и дребезжащее дождем утро сосед по комнате сказал Алику:

- Слушай, сходил бы ты, наконец, со своим желудком к врачу! Смотреть больно, как ты мучаешься!

Алик действительно последние полгода жаловался на разыгравшийся гастрит, списывая его на скудное и нездоровое студенческое питание. Еще бы: жил ведь на стипендию и случайные заработки, да и то с каждых «левых» денег все норовил купить

мне подарок: вот, например, золотое тоненькое колечко с пунцовым камешком; оно стоило тогда – странно сказать! – семь рублей. Я до сих пор его ношу, только годится оно теперь лишь на мизинец – а в те годы свободно вертелось на среднем пальце...

- Да, – ответил соседу Алик, – пора, кажется, попринимать какое-нибудь лекарство...

Он собрался и отправился в университетскую поликлинику. Все очень просто: в троллейбусе Алику внезапно стало плохо, и он упал. Тогда еще на это обращали внимание и реагировали делом – быстро вызвали «скорую» из ближайшего автомата. Но, когда машина приехала, мой любимый уже умер. Вскрытие установило причину: рак левого яичка с обширными метастазами – в том числе и в желудок...

Похоронили его в родном поселке около Ораниенбаума, причем, у бабушки, потрясенной смертью единственного внука и сразу тронувшейся умом, денег на похороны не нашлось. Чем-то пособил родной Университет, на остальное скинулись. Поминки устроила в своем доме и на свои деньги бабушкина соседка – и в первый действительно весенний день, смущенно вернувшись с кладбища, мы толпой раздевались в сенях чужого дома...

Но издевательство персонально надо мной началось не там, а тремя часами раньше: в сенях оно лишь достигло кульминации. Собственно, это можно было спокойно назвать и надругательством, но, увы, в таких случаях виноватых нет.

Дело в том, что, лишь только автобус с гробом и студентами, поначалу старательно хранившими приличествующее случаю постное выражение (его хватило ненадолго: после Петергофа кое-кто уже потихоньку травил анекдоты), отъехал от морга в сторону Ораниенбаума, мне – именно мне и никому больше! – захотелось «по маленькому». Желание стало нарастать очень быстро – вероятно, на нервной почве, и к моменту прибытия на кладбище, я, единственный человек из всей группы, у которого было настоящее горе, не могла уже думать ни о чем ином, кроме как о вариантах своего избавления от физической пытки.

Как по команде зарыдали девчонки, дружно изобразили мужественную скорбь парни – в основном, по обязанности: Алик особой любовью не пользовался, будучи слишком положительным даже для того чистого времени. Одна лишь я не проронила ни слезы. Прекрасно слыша нестройные звуки похоронного марша, видя незнакомое пергаментное лицо в гробу, отрешенно наблюдая, как ребята потекли мимо гроба, прощаясь с покойным, я мечтала только об одном: не описать. Еле-еле подошла (другие подумали, что от горя едва переставляю ноги), неловко ткнулась сомкнутыми губами в ледяной лоб... Меня тотчас подхватили под руки и повлекли прочь, ненароком потряхивая, и я, поджавшись, стискивала зубы...

Когда автобус, подскакивая, жизнерадостно направился к месту поминок, я сидела уже почти в полуобмороке, а когда, наконец, приехали и оказались в сенях, я вдруг уловила из-за одной двери характерный аромат – в ту минуту милее любых французских духов – и метнулась туда. Туалет оказался пристроенным прямо к дому, и уже невозможно было задумываться над такими мелочами, как чистоплотность хозяев... Я проделала все так оперативно, что моего маневра никто не заметил, зато обратили внимание, что в запертую дверь, ведущую, как решили, в чулан, вбито много больших гвоздей. На гвозди быстро повесили в несколько слоев пальто, а к двери, приложив некоторые усилия, придвинули огромный чурбан, невесть зачем торчавший в сенях и очень мешавший на проходе... Чурбан скоро завалили сумками и портфелями, в которых привезли выпивку и закуску, после чего все немедленно направились в комнату, где был накрыт стол...

Ничего этого я до поры до времени не знала, стоя в тесном, темном и уже не благоухавшем, а откровенно зловонном помещении с маленьким окошком наверху. Я всего лишь естественно стеснялась выходить из такого места в присутствии большого количества молодых людей, и ждала, пока все удалятся – но, когда в сенях все стихло, обнаружила, что легкая дощатая дверь не поддается. Что было делать?! Я толкала ее так и

сяк, изо всех сил налегала плечом! Не звать же было на помощь! Такого стыда, пожалуй, и не пережила бы!

В комнате никто меня не хватился: места всем не досталось, сидели чуть ли не друг у друга на коленях, сразу начали поминать – и печальная трапеза довольно скоро превратилась в обыкновенное студенческое застолье. Покойного помянули несколько раз под нажимом соседки, знавшей Алика мальчишкой, на застывшую черной статуей бабушку по первости косились с недоумением, да ее вовремя увели – и постепенно за столом разгоралось веселье...

Я же билась тем временем в дверь, с отчаяньем слушая нетрезвые крики из глубины дома. И надо сказать, усилия мои увенчались успехом: удалось сдвинуть с места треклятый чурбан. Образовалась щель, которую я мало-помалу расширила – и буквально выдралась из своего позорного плена... В комнату я уже не пошла. Пальто и сумка изначально находились при мне. Я тихонько выскользнула из дома и убежала по жирной вязкой дороге в своих легких, сразу промокших бареточках...

Жизнь кончилась. Я тогда же это поняла и приняла – как данность. Взбунтовалась лишь один раз – внезапно и бурно: вновь проходя мимо Никольского собора и вспомнив о гипотетическом существовании неведомого Бога, глядя на те же кресты и глотая кипящие слезы, я обратилась к Нему с такой речью:

- Знаю, что от Тебя не уйти, знаю! Моей власти над любой букашкой в миллионы раз меньше, чем у Тебя – надо мной. Букашка может в последний момент увернуться от моего ботинка – от Тебя не увернешься! Ты как захочешь, так и сделаешь, и с этим приходится мириться! Ты уже отнял у меня родителей, бабушку, жениха! Ну, так я теперь прошу – отними и жизнь! Вернее, ту не-жизнь, которую мне оставил! Не дай мне, как соседке бабе Тосе, дожить до ста лет, всех потеряв! Прибери сейчас – ну что тебе стоит! Никто ведь и не заметит!

Но сорок три года прошло с тех пор, а я ни разу не болела ничем более страшным, чем грипп, не получала травмы серьезней, чем порез подушечки пальца... Я училась и работала остервенело, в двадцать шесть лет став кандидатом, а в тридцать два – доктором наук. Будучи самым молодым профессором на кафедре, издала восемь научных и четыре популярные книги; учила студентов, вступила в партию. Имела квартиру в центре города, и по знакомству в сорок лет удочерила грудную девочку из Дома ребенка. Я самоотверженно растила – и вырастила ее, для того, чтобы в двадцать лет, сбросив мне на руки приبلудного сына, она исчезла в дальнем зарубежье с обретенным мужем – и навсегда растворилась там...

Я никогда больше не встречалась с мужчинами: сама мысль о том, что кто-то другой, кроме Алика, возьмет мою руку в свою, приблизит губы к моему лицу – казалась абсурдной до нелепости. «Доброжелателям», пытавшимся втолковать, что еще можно с трудом понять такую верность мертвому мужу, но жениху – никогда, отвечала уверенно:

- Не бывает относительной правды. Нельзя давать клятвы с оговоркой: «Если не изменятся обстоятельства».

И даже не знаю, никогда не хотела знать – была ли я в жизни красивой...

В общем, я могла смириться в этом мире со всем, кроме двух вещей: существованием женщин, беспечно отдающим многим свою душу и тело, претендуя при этом на то, чтобы их уважали, считались с ними как с равными. А также с наличием болезни под названием «лейкемия» – ведь именно такой диагноз поставили год назад моему тогда четырехлетнему внуку Эдику...

У нас от этой болезни умирают в мучениях, в Германии ее оперируют – за тридцать тысяч долларов. Квартира моя была уже обменена на скромную, за окраиной, разница их стоимости положена в банк. Оставшиеся деньги следовало собирать, о чем нечего было и мечтать профессору-биологу в бандитском городе. И профессор Анна Григорьевна превратилась в домработницу Аню...

Деньги эти я, наверное, в конце концов, соберу. Вот только будет уже, скорей всего, поздно. И оттого не могла я посочувствовать в тот день Симе, рассказавшей, в общем, довольно связную и правдоподобную историю о том, как ее хочет убить неизвестно кто и за что, а все близкие и дальние отступились в течение трех суток.

Что же. Я никогда и ни в чем не была виновата – моя жизнь состояла лишь из труда, забот о других и горестных воспоминаний – и то меня постоянно истязает судьба. А уж Сима, к тридцати пяти годам натворив мыслимых и немыслимых бед – та хотя бы получает по заслугам. Есть же поговорка: «Собаке – собачья смерть», а ведь Сима и есть самая настоящая сука. Ненавижу таких. Эту мысль я развивать перед ней не стала, а лишь сказала со всей возможной простотой:

- Никакого выхода я для вас не вижу. Вас обязательно убьют, Сима: кто-то этого хочет очень серьезно. Телефон Алексея Петровича я вам, конечно, дам, только вряд ли он вам поможет.

Это было уже, когда мы сидели в спальне у Марьяны и пили ликер «Бейлис» – початые бутылки никто, конечно, не считает, и начатые пачки розовых сигарилл там можно обнаружить всегда, а в гостиной-то, в баре, у хозяина дорогая выпивка, наверное, на учете... Я так размягчилась, что угостила Симу по-царски, но она и не думала благодарить, только странным, немного сумасшедшим взглядом озиралась – будто пыталась и никак не могла вспомнить что-то очень важное...

* * *

Открытое кафе неподалеку от парка, указанное Алексеем Петровичем, нашлось быстро. Определенно, я начинала превращаться обратно в человека из неизвестной затурканной твари, потому что вспомнила, зачем существуют кафе, и взяла растворимый кофе. Плюшка, прихваченная вместе с ним, правда, пока не полезла в горло, но в глубине души я уже предчувствовала, что скоро смогу делать все как люди: глотать пищу, спать под одеялом, водить за руку ребенка... Господи, ну, почему я сразу не обратилась к Алексею Петровичу! Ведь с самого начала было ясно, что дело не во мне, а в Марьяне, смерть Егора только подтвердила этот факт, а я все не могла додуматься до такой ясной вещи! Просто затмение на меня нашло, и чего я себе никогда не прощу – так это что из-за моей глупости погиб замечательный, редчайший юноша...

Завтра-послезавтра отец привезет Васю, но к тому времени все уже встанет на свои места: Алексей Петрович, как-никак, человек со связями – все-таки владелец телеканала, пусть и не шибко выдающегося... Наверняка найдутся у него влиятельные знакомые, которым ничего не стоит раскидать такие мелкие неувязки за полчаса – а он мне еще и спасибо скажет... А может, и не только спасибо...

Так рассуждала я про себя, сидя на красном пластмассовом стуле за красным же столом с дыркой посередине – для ныне отсутствующего зонта. Вернее, пыталась таким образом успокоиться, потому что плюшка в рот не шла не зря: необъяснимое, мутное чувство целиком завладело мною еще до того, как я набрала в квартире продиктованный Анной Григорьевной номер...

Алексей Петрович ничуть не рассердился, когда я, чтоб сразу не напугать его, брякнув с места в карьер слово «убийство», начала издалека объяснять меня, что поимела (скорей – меня поимели) серьезные проблемы, кажется, как-то связанные с его семьей...

«Ну что вы, Серафима! – услышала я густой, спокойный, ободряющий голос надежного мужчины, как всегда доставшийся совершенно неподходящей жене, качеств мужа оценить неспособной. – Надо было сразу звонить – давно бы разобрались во всем. Знаете, как мы с вами поступим? Мы поступим так. Вы сейчас идите к тому кафе, что на углу нашего парка, помните? Так вот, сидите на стуле и ждите, никуда не уходите. А я минут через сорок подъеду. Идет?».

Еще бы! Боже мой, как же я обрадовалась! Сколько близких и слушать меня не стали, а этот посторонний человек ни на секунду не задумался... Впрочем, если речь идет, возможно, о жизни жены, то побежишь тут вприпрыжку! Да, разговор пообещал мне многое, но *до* него, *до*... Что же это такое было? Будем вспоминать по порядку... Анна Григорьевна? Слов нет, далеко не совершенное создание... Не случись этой ночной встречей с Серафимушкой – я бы, пожалуй, разругалась с ней сегодня в пух и прах. А потом презирала бы до гроба: сколько профессорской, псевдо интеллигентской спеси, гонора, стародевичьей ненависти ко всему женскому полу – и как просто ладит все это с ухватками недобросовестной прислуги, тайком приворовывающей табачок и спиртное у хозяев и, наверняка, периодически пихающей в карман то денежку, то безделушку – если плохо лежит, и точно знает, что не хватятся... Сначала, когда она изображала из себя великосветскую львицу – в чужой гостиной с видом на зимний сад – я испытывала только тоску и раздражение, но того бередящего, словно занозу задевающего чувства еще не было... Из гостиной мы незаметно перешли в спальню Марьяны, где было уютнее, и хранились неучтенные запасы «Бейлиса» и драгоценных сигарилл. Расслабившись, то есть, сообразив, что я не денег у нее кланчить пришла, львица разом превратилась в небольшую вороватую мышку и засуетилась в поисках мелочной поживы, попутно безмолвно хвастаясь передо мною – что вот, может пить сколько угодно дорогого ликеру – и ей за это ничего не будет... Помню, я еще вспомнила сказку о двух мышках – сельском и городском. Городскому не понравилось в норе у сельского, где спать приходилось на ветхой подстилке, есть зерна и пить сырую воду. «Вот у меня в городе все иначе: живу в особняке, каждый день ем лучший сыр, дорогую ветчину, любые фрукты...». Поехал сельский мыш в гости, и обнаружил, что городской друг его живет под полом в кухне, а еду таскает из буфета, постоянно рискуя оказаться в когтях хозяйского кота... Вот этого мыша и напомнила мне профессор Анна Григорьевна – неприятно стало, даже больше, паскудно как-то, но не то, не то... Я вдруг твердо поняла, что на неуловимый миг уже держала в руках полную разгадку, только ключик к ней был очень маленьким – вот и выскользнул... Но ведь был же момент, когда я знала, знала!

Спокойно, подумать не торопясь. Я сижу в меховом кресле-ракушке, Анна Григорьевна вышла за записной книжкой... Обвожу взглядом знакомую комнату Марьяны, вскользь проходит привычная мысль, что мне так не жить никогда, что за каждую забытую под зеркалом на туалетном столике скляночку с кремом мне нужно работать не менее месяца, а уж за любую безделушку – так год... Именно в ту секунду озарение готово было ярким огнем вспыхнуть в голове, но Анна Григорьевна как раз вернулась со словами – какими? – да с цифрами телефона! – я переключилась на них, и упустила, упустила! Сорок минут истекают, пора бы уже и Алексею Петровичу появиться...

Я осмотрелась – не едет ли откуда-нибудь скромная (для положения хозяина, конечно), черная «бомба» – и действительно, заметила, что невдалеке она разворачивается у светофора. Тут же прямо в колени мне сунулось что-то влажное, оказавшееся носом пса-попрошайки – и машинально я ткнула ему в пасть свою нетронутую плюшку... Молодой еще песик, белый, с трогательно ровным серым пятнышком на спинке, по-человечески благодарно глянул снизу огромными, какими-то несобачьими глазами – и я вспомнила.

Первым порывом стало – бежать. Нет, поздно. Конец. Что должен чувствовать человек, которого вот прямо сейчас убьют, и он это знает? По моему внутреннему миру пронеслись рваные клочки уже ненужных мыслей, среди которых различима была только одна: «Лишь бы не слишком больно!» – но потом появились чьи-то глаза. Осознавая напрасность всего в те секунды, я не хотела тратиться на их узнавание, но они не уходили, остались, пристально вглядываясь в душу, и мне пришлось их узнать: стена порушенной церковки в роще, стертая фреска... – и пришел покой.

Я поднялась навстречу направлявшемуся ко мне по узкой дорожке убийце и, как только он оказался достаточно близко, чтобы наши взгляды могли встретиться, спросила в упор:

- Труп где закопан – на даче в Кашино?

Убийца, статный кудрявый мужчина лет около сорока, с волевым красивым лицом, приветливыми серыми глазами и твердой линией рта, ничуть не смутился:

- Если вычислила, то зачем ты здесь? – спокойно отозвался он.

И я снова смутно поразилась тому, как много можно успеть последовательно представить себе в предсмертную минуту:

Глава 9 Прозрение

*Вскую прискорбна еси, душе моя?
И вскую смущаеши мя?*

Пс. 41, ст. 6

- Ну, что молчишь? Зачем тогда звала, спрашивается?

- Видите ли... Я только что поняла... Минуту назад... А позвонила – чтобы попросить помощи... Дура я, правда?

- Полнейшая. Ты так и намерена сидеть на этом дурацком стуле, как полудохлая лягушка? Может, пройдемся?

- Может... Сейчас вы меня в любом случае убивать не станете.

- Вот только голову мне не морочь! Не вздумай болтать, что за эту минуту ты успела кому-нибудь позвонить и рассказать. Я этому все равно не поверю, потому что... Неважно, почему, просто ты дура.

- А почему, собственно, если вы меня называете на «ты», то я не могу сделать того же?

- Да пожалуйста. Мне плевать. А убивать тебя сейчас действительно рано: наша мадам профессор уберется из квартиры только через пару часов, поэтому придется подождать.

- Да. Тебе не нужны ее свидетельские показания – когда я пришла, да о чем беседовали, да когда ушла. Чтобы все это уж слишком точно не совпало с часом моей смерти. Лучше, чтоб ее вообще не допрашивали.

- Соображаешь. Впрочем, до этого даже олигофрен бы додумался. Ладно, давай поднимайся, совершим вечерний променад по аллее. Кстати, бежать не советую. Во-первых, я тебя догоню без напряжения, а во-вторых, мы не одни здесь, имей в виду.

- Мне с самого начала казалось, что вас, по меньшей мере, двое.

- Так оно и есть. Ты же не думаешь, что я черную работу сам выполняю. И одного трупа, так сказать... лично сотворенного... мне по собственный гроб хватит.

- Марьяны? Ты ее убил, надо полагать, в припадке ярости? Или, по-научному, в состоянии аффекта? Что ты на меня так уставился? Как там... «На мне узоров нету и цветы не растут»...

- Удивляюсь. Нет, правда, по-хорошему. Все выглядит так, будто тебе не страшно. Но ведь это, прямо скажем, вранье. Не можешь ты не бояться. Не можешь – и все тут... Что, выкрутиться надеешься? Так это сразу говорю – напрасно.

- Потому именно все так и выглядит... Знаешь, люди ведь пытаются, как ты сказал – выкрутиться, когда считают, что *не* напрасно... А когда шансов нет... Приходит какой-то покой. Особый. Тебе не понять.

- И надеюсь, еще долго. Чему это ты так разулыбалась?

- Я подумала о том, как мы выглядим о стороны. Влюбленная парочка совершает романтическую прогулку по лесопарку... Ты бы меня еще обнял... Я пошутила, лапу убери... Жаль, луны не будет.

- И пожалуйста. Нужна мне такая задрюга... Слушай, а ведь я тебя совсем другой представлял. Я же знаю о тебе все – справки пришлось навести. Это копейки стоило в частном бюро... добрых услуг... и четыре часа заняло. Ты вся как на ладони и вести себя должна иначе... Я это к тому, что в той конторе в качестве бесплатного приложения прибавляется краткая характеристика объекта... И то ли там полные лохи сидят, то ли... Не знаю.

- А можно полюбопытствовать?

- Никаких секретов. Интеллект средний, причем у нижней границы. Зато самомнение – выше среднего, и тут уже у границы верхней... Крайний эгоизм, склонность к истерии, животный страх смерти и болезней.... Никаких настоящих привязанностей, даже к отцу и ребенку, всех друзей презираешь, потому что считаешь себя выше... Неразборчивые половые связи, внебрачный ребенок от женатого мужчины... Недоучка во всем, образование поверхностное, способности к живописи весьма скромные – и это тебе я сына своего учить доверял! Что там еще... Любишь работать на публику, казаться значительней, чем даже сама о себе думаешь, умеешь изобразить обеспеченную женщину, хотя стоишь за порогом бедности... Достаточно или еще?

- Спасибо, хватит, приняла к сведению...

- Словом, даже пожалеть не о чем, на похоронах бы никто и слезы не пролил, если бы они состоялись, конечно... Но, поскольку в мои планы это не входит...

- Это как, не поняла? Убить – но без похорон?

- Подожди-подожди... Ты же сказала, что все вычислила....

- Я не все вычислила, а убийцу. Тебя, то есть.

- Информация за информацию. Ты полюбопытствовала, теперь я хочу.

- Элементарно, Ватсон. Все дело в собаке. Той, что стоит у твоей жены на столике у кровати.

- Там у нее много разной херни стоит.

- Да, но одна собачка – особенная. Такая, знаешь, с человеческими глазами... Что это у тебя физиономия так вытянулась? Ты что – не знал?

- Представь себе, нет. А что?

- Верней, не дал себе труда обратить внимание на некоторые странности...

- У меня других дел нет, кроме как обращать внимание на вывихи дуры припадочной.

- А я – обратила. И так узнала, что...

- Очень тебе это помогло.

- ...что та собака – маленькая, беленькая, дешевенькая, с серым пятнышком и голубыми глазками, у Марьяны – талисман. И без него она из дома не выходит. А если вдруг выходит, то возвращается с любого расстояния. Так вот, этот славный песик остался там, в спальне. И означать это может только вот что: либо Марьяна покинула спальню против своей воли, либо лишена была возможности вернуться или послать кого-нибудь за игрушкой... А поскольку другая собака...

- Еще одна?!

- Нет, живая, овчарка, по имени Иртыш...

- А-а это та самая, ментовская, которая с вами м-м... обследовала дачу... Жаль, мне поздно сообщили: охранник, обормот, только через четверть часа вспомнил, что мне нужно позвонить...

- Да, так вот, она, то есть, он, учуял там труп. А когда я поняла, что фарфоровый песик на месте, то сложила два и два...

- Лихо. Но зачем тогда все-таки пришла на встречу? Логичней, согласишься, было ноги уносить...

- Эх, ма... Так бы и сделала, если б увидела игрушку сразу. То есть, я ее увидела. Но значения не придавала: там на столике правда много всякой, как ты говоришь, «херни». А вспомнила – за минуту до твоего появления. Потому что ко мне подошла... третья собака. Она хотела выклянчить плюшку.

- Выклянчила?

- Да. И была тоже белая, с серым пятном, человечьими глазами и – молодая... Вот тут я все и поняла, да...

- Было поздно...

- Именно.

- Ну и как – все еще не страшно? Извини, мне просто интересно... Осторожно, не вляпайся тут – видишь, грязь не просохшая...

- А ты вляпался уже... И брюки, вон, обрызгал... Нет, мне не страшно, потому что ты меня не убьешь.

- Конечно, нет. Это сделает Миша. Оглянись, видишь, мужичок метрах в ста за нами? Это он и есть. Сигнала ждет. Он никакой грязной работы не боится, не раз для меня делал... всякое... разное... А я отвернусь.

- И часто ему приходилось для тебя делать это... всякое?

- Случалось. Там, знаешь, где крутятся реально большие бабки...

- Можешь не продолжать.

- Ну что, испугалась, наконец, дошло до тебя?

- А тебе что, очень нужно, чтобы я испугалась, что ли?

- Да нет, не нужно, просто не психологично ты себя ведешь как-то... Да смотри ты, под ноги, б...! Пардон. Я, конечно, не предполагал, что дело дойдет до нашей личной встречи. Надеялся пообщаться с твоим очаровательным... а может, и не очень... трупиком... Но мельком думал, что, если б дошло до какого-нибудь разговора, то ты вела бы себя несколько иначе.

- «Дяденька, не убивайте! У меня дите малое, папа старый, что хотите, сделаю – только не убивайте!» – так примерно?

- Вроде того. И, честное слово, никак не могу взять в толк, почему ты ведешь себя по-другому.

- Видишь ли... Видишь ли... Если бы этот разговор состоялся дней пять назад – то есть, сразу, тогда... То так бы, скорей всего, и было.

- Хочешь сказать, что за эти пять дней ты стала другим человеком? Произвела переоценку ценностей? Это уж, извини, не поверю. Это уж, извини, литература.

- Да нет, я просто старичка одного встретила.

- Старичка?! Колдуна, что ли? Он тебе что, «защиту» какую-нибудь поставил? Шарлатан твой старичок. Наплел, небось...

- Да мы вообще не разговаривали. Он только на меня посмотрел – мне хватило. А ты-то что так смотришь?

- Я смотрю – на сумасшедшую ты, вроде, не похожа, вот что... Довольно трезво рассуждала – и вдруг... Слушай, какой старичок, как посмотрел, что ты мелешь? Как может какой-то дед так на человека глянуть, чтоб он смерти бояться перестал?!

- Ну, ты же сам видишь. Знал меня одним человеком, и психологический портрет написали, и ты неплохо вычислил, как я должна себя вести... Осторожно, дурак, шею свернешь! Ушибся? Отряхнись, а то некрасиво... Так вот, все знал, все вычислил, а выходит – наоборот. Ну и подумай: значит, произошло что-то.

- Вижу, не идиот. Во блин, ногу, кажется подвернул все-таки... Только сдается мне, что про старичка – это либо просто треп, либо иносказательное что-то. У тебя козырь в рукаве какой-то, и ты надеешься его вовремя вытащить. Хм... Давай подумаем... Оружие? Сейчас стрельнешь или ножичком пырнешь? Ну, карманчики маловаты, а из рюкзака достать не успеешь. Да и Миша тут как тут – и тогда смерть твоя уже не такой легкой будет. Как задумана... Прямо скажем, далеко не такой...

- А как задумана, кстати?

- Да просто. Оглушит тебя по затылку булыжником – ты и понять ничего не успеешь. Если сразу не помрешь, то еще раз приложит. Колечки-цепочки снимает, бумажничек вынет: ограбление... Да, так насчет козырей... Оружие отпадает, а если бы, кроме Миши,

нас еще кто-то... сопровождал... с твоей, так сказать, стороны, то Миша бы либо разобрался, либо знак дал: он, видишь ли, бывший спецназовец, так что вещи такие сечет сходу...

- Тяжелая артиллерия, ничего не скажешь.

- И не страшно? Все еще не страшно?

- Н-нет... Здесь темно совсем и сыро... По-моему, местечко подходящее. Что ж ты подельничка не зовешь?

- Не терпится? погоди, успеешь... дыши, вон, глубже... А не зову потому, что Анка-профессорша там еще Марьянин ликер хлещет и сигареты ее покуривает. За уборку и не принималась, поди. А мне надо, чтоб забыла и ушла.

- Насчет ликера и сигарет – ты проверяешь, что ли?

- Очень надо. Просто вся прислуга одинакова. Во все века. Если думает, что хозяева чего-то не сосчитали, то обязательно ворует. Так вот, твой труп должен быть... То есть, ты должна.. это... превратиться в труп... минимум час спустя после ее ухода... Она даст потом показания, конечно, – ровно столько, сколько я разрешу... Например, что бедная девочка приходила к ней, жаловалась на жизнь, телефон хозяина выпросила... А я подтверждаю, что видел тебя в кафе и одолжил денег – за тем, мол, ты и звонила...

- Все равно как-то не вяжется... Что-то глупое... Я, конечно, понимаю, что тебе хотелось бы сохранить все в тайне, но мне-то ты можешь рассказать? Зачем меня убивать? Что я такое сделала, в конце-то концов?

- Ровно ничего. И если б я мог получить твой труп, не убивая тебя, я бы так и сделал, поверь...

- Я, кажется, что-то понимаю... Нет, положительно, понимаю... Марьяну ты убил, сам признался... А мы с ней несколько похожи... Хочешь подменить труп? Но зачем? С твоими деньгами ты легко откупишься от всех! С твоими связями! Тебе нужно труп кому-то обязательно предъявить? А Марьянин – нельзя? Или – поздно? Или – не в том виде? Господи, да в какое же дело ты мог влипнуть, что даже деньги не помогают?! И нужно убивать постороннего человека, который ничего не сделал? Ну, расскажи мне, может, вместе подумаем?

-А-а, вот она, первая ласточка... Начинается... Отсюда уже недалеко и до «Дяденька, не убивайте!».

- Да брось ты, дурак, я не об этом. Сказала же – не убьешь ты меня. И Мишу своего не позовешь. Просто не хочу, чтоб к двум убийствам ты приложил и третье, вот и все.

- Гипнотизируешь, что ли? Зря: я негипнабельный, проверено. Знаешь, что: у меня, кажется, действительно растяжение. Поэтому давай посидим, не возражаешь? Вон озеро, очень живописное... И на том пригорке, кажется, сухо.

- Ага-а, холодно, между прочим. У тебя вон какая куртка, а у меня легкая кофточка.

- На, возьми. Можешь капюшон накинуть. Удобно так сидеть? Подожди, привстань-ка... Женщинам, говорят, нельзя на холодном...

- Мужчинам тоже. Предстательная железа...

- Попрошу мою железу не трогать! О своих придатках думай!

- Ты что, овдовел – теперь на мне жениться собрался?

- Что ты на меня так смотришь? Хватит ржать! Хватит ржать, говорю, сейчас доржешься! Думаешь, тебе это поможет?

- Я уже ничего не думаю. Все-таки расскажи, зачем тебе это? В какую передрагу может попасть такой богатый человек как ты, чтобы почти неделю гоняться за бедной учительницей рисования, чтобы ее прикончить?

- Богатые тоже плачут. Между прочим, это ты-то – учительница? Может, еще скажешь – художница?

- Скажу. Диплом показать?

- Мало ли, у кого какой диплом. У меня тоже есть. Сказать кого? Нет, кроме шуток, не поверишь. Инженера по холодильным установкам.

- Круто. Ну, а я тогда кто? Не художница, не учительница... Кто же, по-твоему?

- Хм... Не знаю... Репетитор ты, вот кто. Точно, репетитор...

- Не понимаю.

- А и понимать нечего. Ты всегда репетировала. Не учеников, а саму жизнь. А пьесу так и не поставили. Или поставили, но роли тебе не дали. Вот так вот. Между прочим, Анка там уже наклюкалась и натанцевалась с пылесосом. Жаль, что я ей такую гору посуды оставил: раза два машину загружать придется, а это еще час... Впрочем, она может схалтурить для скорости, и, пока машина первую партию моет, она вторую просто легонько ополоснет – и в сушилку... То-то я вижу, у нас тарелки иногда вроде и чистые – а жирноватые...

- Трудно вам, богатым: никогда не знаете, не плюнул ли кто в суп, а то и чего похуже...

- Знаешь, если бы мне не нужно было тебя убивать, я бы и вправду на тебе женился.

- Не обольщайся: я за такого козла все равно не пойду.

- За козла ответишь. Серьезно.

- Ладно, извини, не будем ссориться... Пусть – не козел. Но правда, рассказывай давай, пока время есть.

- Расскажу. Но только опять баш на баш.

- И что я должна предьявить для обмена?

- Старичка. Ну, или не старичка, а кто он там... Или что произошло. Потому что я никогда еще так, как сегодня, не удивлялся. Выкладывай свой туз, не стесняйся, у меня все равно джокер.

- Ты когда-нибудь задумывался над тем, как это слово переводится?

- Ну и как?

- Дурак.

- Сама дура. Знаешь, мне уже надоедает: то козел, то дурак...

- Не ты на сей раз, а «джокер» так переводится.

- Что, правда, что ли?! Вот ведь – век живи, век учишься, дураком помрешь... Тьфу ты, опять этот дурак выскочил!

- Не иначе, твой джокер, которым ты надеешься побить моего туза.

- Слушай, тебя не переговоришь, это я уже понял... А до карт я никогда особо охоч не был, так что мне простительно не знать, как что переводится. А ты если хочешь рассказать – рассказывай. Потом я, как обещал. А то уже комары летают и дыма не боятся.

- Ладно. Но только начать придется издалека. Очень издалека. С тринадцатого века.

- Че-го? Может, ты действительно умом тронулась, потому и не боишься? Это что у нас, тысяча и одна ночь Шахрезады? Думаешь, пока рассказываешь, тебя не прихлопнут? Кстати, я не помню, отрубил калиф Шахрезаде голову в конце концов или нет?

- Знаешь, я, стыдно сказать, вообще не читала.

- Зато рассказывать умеешь. Но Миша-то вон сидит: за кустиками синенький дымок вьется... Ждет Миша, ждет... Скоро дождется... Анна-то Григорьевна уже, наверное нос пудрит...

- Ну, раз хочешь слушать, расскажу я тебе сначала о Франциске Ассизском.

- О Франциска Ассизском – не надо. Я и так про него все знаю. Ну, не все, а что положено. Целую книгу про него прочел случайно, еще в институте. Был такой парень, из богатой семьи. Родителей подальше послал и в монахи ушел. Но этого ему показалось мало, потому что он не простым монахом хотел быть, а самым главным. И для этого изобрел ни больше, ни меньше – а новый монашеский орден, Францисканский. И добился своего: Папа Римский его признал, орден широко распространился, приобрел много адептов – ну, и так далее. Кажется, до сих пор существует. А Франциска после смерти быстро канонизировали. Верно излагаю? Так что не утруждайся, можешь прямо с двадцать первого века начинать, с плавным переходом на старичка, который на тебя посмотрел и сделал другим человеком...

- Так вот, в двадцать первом веке, в самом его начале, жила-была одна женщина, которая очень уважала Франциска Ассизского. Она не одну книжку о нем прочитала, а десятка два, и решила, что заслуживает он самого глубокого преклонения. Эта женщина была – я, а Франциск Ассизский – далеко не такой простой парень, как тебе кажется...

- Вот это мне как раз очень понятно. В смысле – женская психология. Вам обязательно нужно кем-то восхищаться – «обожать», в общем. И если реального мужика рядом нет, то вы переносите нерастроченные чувства на кого угодно – хоть на историческую личность. Он хоть красивый был, Франциск-то твой?

- Трудно сказать. Сначала, по-видимому, да. Представь себе: юноша из богатой семьи, с благородными чертами лица, одетый по последней тогдашней моде...

- Ага, у него были туфли с длинными загнутыми носами, как на гравюрах тринадцатого века. Жуть.

- Вполне возможно. Но это ведь только сначала. Потом, когда он начал совершать подвиги, изнурять плоть – от красоты не осталось и следа. Он превратился в ходячий скелет, волосы повылезли, глаза стали гноиться, ходил в рубище, подпоясывался веревкой...

- Понятно. Причем, таким он тебе даже больше нравился. Ваша непобедимая склонность к жалости всемирно известна... «Ах, он бедный, ах, он несчастный – и такой умный! Как же я его люблю!».

- А однажды в Великий пост он тяжело заболел. И так стал изнемогать, что выпил бульона. Я уверена, что совсем чуть-чуть, просто чтобы поддержать силы. И съел крошечный кусочек мяса...

- Ужас, ужас...

- Тебе смешно, а он посчитал это падением. И, когда встал, то повелел самому близкому своему ученику – брату Леону – тащить себя за шею на веревке сквозь толпу – и стал при этом публично каяться. Леон не посмел послушаться учителя, но, таща его, сам обливался слезами... Тяжелое зрелище было...

- Ты что, видела?

- Да. Не пугайся, во сне. Правда, может и не во сне, не знаю...

- А по-моему, так не тяжелое, а дурацкое. Таким образом твой Франциск устроил себе великолепную рекламную акцию. Я специалист, так что, поверь, разбираюсь.

- Ну, да, так и получилось. Только он не нарочно. Не забывай, к тому же, что он – итальянец. У них экспансивность и склонность к театральным эффектам в крови... Нашему бы просто в голову не пришло, да его бы и не поняли. Короче, я собралась написать картину – огромную, маслом...

- «Франциск на веревочке»?

- Не иронизируй так жестоко. Не надо. Там было наработано много сцен, например, «Видение Святого Франциска». Одинокая пещера в горной местности, за пропастью... Ночь... И – два огненных столпа, большой и малый. В одном, большем, просвечивают очертания Иисуса Христа, а в меньшем – Франциска... А Леон, ставший случайным свидетелем, прячется за скалой, потрясенный, и, не в силах вынести света, закрывается рукавом...

- Слушай, если у него действительно были такие видения, то... Ты извини, конечно, я ни тебя, ни его обидеть не хочу, но... Много же он о себе вообразил! Прямо Иисус большой и Иисус маленький.

- Вот ты сразу понял, молодец.

- Спасибо, а то я не знал.

- А я – десять лет не могла сообразить и носилась с Франциском, как курица с яйцом... Какой там «Иисус маленький» – он мне всего Бога заменил, всю веру, весь мир... Так бы и раньше продолжалось, если бы тебе не потребовалось меня убить.

- Ну, знаешь, с Франциском Ассизским связываться я в любом случае не хотел.

- Мне очень страшно было, очень... Я бегала от тебя...

- Больше от Миши.

- От вас с Мишей... Из последних сил... Я попадала в такие передрыги, что и теперь не понимаю, как могла это вынести...

- И, главное, совершенно напрасно мучилась: все равно ведь попалась. А так уже несколько дней лежала бы себе в уютной могилке, смотрела сны про Франциска... Никаких забот. А ты на шестом этаже через балкон лазила.

- Да, сны про Франциска... Они мне сразу начали сниться, как только я поняла, что меня убивают... Но он вел себя в них как-то странно. Видишь ли, я столько лет о нем думала, так им прониклась, что он мог бы хоть в одном из снов на меня обернуться, что ли... А он все уходил и уходил... Совсем не обращал внимания, а я все бегала за ним с криками – и не могла догнать. Мне-то казалось, что мы с ним сквозь века как-то породнились, а он...

- А он и в твоих снах был занят своими подсчетами – на сколько он меньше Бога, и прикидывал – каких бы еще грязных объедков схавать, чтобы к Нему приблизиться... Где уж ему было тебя разглядеть! Тем более что он и понятия не имел, что пребывает в твоём сне...

- А ты забавный. Знаешь, с тобой как-то спокойно.

- Ну, ты даешь, Сима! А может, ты пример с Франциска берешь? Тоже спектакль передо мной разыгрываешь, чтоб я купился на твою юродивость? Только со мной такие номера не проходят, сразу предупреждаю.

- Я не дорассказала еще.

- Да, правильно, там ведь еще старичок-боровичок. Пардон-с, слушаем-с со вниманием.

- А вот дальше – уже серьезно. До того была, как я теперь понимаю, одна романтика... Убили вы с Мишей Егора...

- Мента-то? Это Миша погорячился. Уж больно расстроился, что ты опять упорхнула. Согласись, нельзя же так! С самого начала казалось, что трудней курице шею свернуть, чем тебе, да еще такому зубру, как Миша. А ты все ускользала да ускользала! Вот Миша и озверел. Я отговаривал. Честное слово. Это ж мент, говорю, неприятности можно нажать. А он мне – да какой, на хрен, мент – курсант гребаный, даже без пушки... Короче, не послушал меня. Жаль парнишку. Но не полез бы, куда не следовало –

- Он не мог не полезть. Он другой породы был, понимаешь...

- Тогда все правильно: таким в ментовке не место – только намучился бы, пока свои же не пришили по-тихому.

- У него мать есть. И у матери еще трое детей.

- Да ладно. Разрешаю тебе напоследок даже доброе дело сделать. Дай ее адресок, я ей пару штук баксов подкину. В порядке, так сказать, компенсации морального ущерба.

- Жизнь человека стоит две штуки?

- Ни копейки она не стоит. Вот твоя, например. Ну ладно, уговорила, матери его дам три. А вот твоему охلامону-бате уж извини, ничего не отломится.

- Так вот, о матери его. Она сказала мне, что у нас есть один святой – Серафим Саровский. Он и всем-то помогает, кто ему молится, а меня, к тому же, Серафимой зовут... Но я на ее слова никакого внимания не обратила. Для меня это было, как с другой планеты... Да, я знала, конечно, что есть какие-то люди, которые держат в доме иконы, посты соблюдают, ходят в церковь и даже исповедаются там какому-то совершенно постороннему человеку, который, может, худший грешник, чем они сами... А потом все съедают что-то – с одной и той же ложки! – и это называется причастие. Я понимала, что существуют такие люди, но думала, что их очень мало осталось и все они уже далеко не молодые... И вообще, что они – совершенно другие, на нас непохожие... Мне как-то невозможно было представить, что они вот так запросто меж нами ходят, и не в черных балахонах, а в самой обычной одежде... И что они так же шутят, обсуждают те же проблемы, что и мы... Служат в милиции, наконец...

- Да уж, насчет милиции – в это я с трудом верю.

- А что касается святых... Так они просто скучные, и на иконах все на одно лицо. Ну, Николая Угодника, разве что, различить можно... А уж там Серафим какой-то... Но вот оказалась прошлой ночью в лесу...

- Так ты от нас по лесам бегала?

- Нет, в лес я не от вас убежала. От себя... Но это неважно. А там – старая церковь разрушенная, одна стена только уцелела – с фреской... Я издали усидела фреску, но среди деревьев да тумана мне показалось, что это живой человек стоит – старый дед, совсем скрюченный, с палкой... Я пошла к нему, и лишь вблизи поняла, что он нарисованный! Да ярко так, красиво! И как, думаю, роспись такая уцелела! А над ним, в нимбе, написано: святой Серафим Саровский. Вот тут я так и села прямо на месте – к ногам его... Потому что поняла совершенно точно, что случайностью это быть никак не может. А значит, я попала туда, к нему, неспроста. Значит, он поможет мне...

- Ну и что, попросила ты его о помощи, а он, выходит, напрямик отдал тебя мне в руки?

- Ни о чем я его не просила. Я просто вдруг разревелась и не могла остановиться. Кажется, слез из меня вытекло несколько литров – за долгие годы бесслезности... А тут и солнце взошло. Поднимаю глаза на фреску, а там...

- Неужели Франциск Ассизский?

- Не ерничай, тут не до шуток. Он самый, Серафимушка, только... едва различимый. Просто облупленная стена, с которой уж и штукатурка дано облезла, и кирпичи просвечивают. А на остатках штукатурки еле-еле проступают очертания человека. Если б не знать заранее, ни за что бы не разобрать...

- Ну, поскольку мистику я сразу отмечаю, то делаю вывод, что ночное освещение – ночь-то белая! – сыграло с тобой шутку. А поскольку ты сама призналась, что никого, кроме этого Серафима, из святых не знаешь, то вполне естественно для тебя было увидеть именно его имя. Так что, никакого чуда не было, не обольщайся.

- Было, но позже. Ведь из леса-то я – вышла! И пришла – в город. И увидела настоящую церковь, действующую. Вхожу туда, и сразу вижу...

- Уже догадываюсь: большую красивую икону этого самого твоего тезки – и ты его в лицо узнала, так?

- Совершенно точно. И шла ранняя Литургия, а сбоку – исповедь. Вот я и...

- А вот этому, извини, не поверю. Подошла к постороннему попу и выложила ему все, как на духу...

- Не «как», а именно: на духу. Это и значит – на исповеди. Я подошла и сказала: батюшка, меня хотят убить, и, может быть, сделают это уже сегодня, а я ничем не могу помешать... И знаешь, что меня поразило? Он не стал говорить, что нечего, мол, придумывать, или, мол, в милицию обратитесь, или просто – успокойтесь, дочь моя, все будет хорошо... Тогда бы я, наверное, просто развернулась и пошла восвояси...

- Молодой поп или старый?

- Да лет сорока с чем-то. Но мудрый, потому что ни увещевать не стал, ни советов давать ненужных. Может, по лицу что прочел, не знаю. А сказал просто: тогда я вас буду исповедовать как умирающего на смертном одре. А вы помните, что сегодня умрете, и отвечайте на мои вопросы максимально честно и безо всякого стеснения. Потому что вам по мытарствам идти, а у бесов там знаете, какая бухгалтерия? Вот мы сейчас с вами их хартии и подчистим...

- Че-его? Хари начистим?

- Я тоже не поняла, но он объяснил потом: это у бесов вроде как списки грехов, которые они предъявляют душе после смерти, чтоб не пустить ее в рай. Но если человек при жизни исповедует свои грехи священнику, и тот их отпустит, то они исчезают из хартии, и бесам уже нечего предъявлять... Ну, стал он мне задавать вопросы, а я на них отвечала...

- Ну, и как вопросы – ничего?

- От стыда чуть сквозь землю не провалилась. А ведь знаешь, до сегодняшнего дня я считала себя вполне порядочным человеком, не хуже других. Незлым, полезным, почти что хорошим... А оказалось...

- А что оказалось – это я тебе еще в самом начале нашего разговора сказал.

- Гораздо хуже. Потому я на тебя и не обиделась. Отпустил мне священник все мои грехи и говорит: вообще-то, причастия вам после такой исповеди не положено: нужно сначала епитимью понести... Но раз такое дело, что вы помирать собрались – причащайтесь. Считается, что кто причастится в день смерти, того бесы вообще на мытарствах тронуть не смеют: несет в себе душа частицу Самого Господа, и они в ужасе отворачиваются, даже видеть ее не могут, не то что с собой утащить...

- Так что – в тебе, выходит... Эта самая... частица? Что-то не пойму я... Не по себе как-то... Так ты к тому гнешь, что поэтому тебе не страшно, да?

- Выходит. Знаешь, я даже пытаюсь заботиться. Заставить себя. Не получается. Вот ты сидишь, смерти моей хочешь... А вон Миша твой там в кустах мается, крови жаждет еще больше, чем ты: обидно ему, что за презренной бабой столько мотался – и все никак... Смотри, уже нетерпение проявляет...

- Издеваешься, да? Издеваешься... Вот сейчас махну ему – и все. И никакая частица не поможет. Вот и посмотрим, как ты запоешь. Ты потому такая храбрая на самом деле, что отчего-то вбила себе в голову, что я не решусь, что ты меня обаяешь...

- Я-то, между прочим, свое слово сдержала. И теперь твоя очередь рассказать мне главное: зачем тебе все это надо? Ты обещал, вот и давай, выкладывай.

- Да пожалуйста, какая теперь разница. Марьяну я застрелил неделю назад. Вогнал в нее все семь пуль из собственного пистолета, на меня зарегистрированного. И закопал на даче – так что правильно вы с ментом и собакой додумались. Все-таки, частное владение, случайно никто не наткнется.

- А за что – можно поинтересоваться?

- За наглость. Предел есть, который переходить нельзя. Знать этот предел надо. Нутром чуют. Душой. А у нее не душа была. А душонка, если была вообще. Мне иногда казалось, что... Ну, короче, что она просто живая кукла. Набор функционирующих органов.

- Была, была душа, я точно знаю.

- Пстой, попытаюсь догадаться, откуда... Из-за собачки-талисмана, верно? Рассказала тебе какую-нибудь сентиментальную историю, заимствованную из мыльной оперы?

- Да нет, похоже, правдивую... Но я не могу тебе...

- Понял, понял... «Благородство и всякая такая вещь»... Только мне плевать на ее дешевые тайны. А если там душонка и существовала – то она и в аду не нужна.

- Сам помрешь – узнаешь.

- Ну, ты-то, во всяком случае, узнаешь раньше. Может, встретитесь. Тогда и объяснишь ей про предел, не забудь только....

- Про твой бес-предел.

- Мужественная ты баба, этого не отнять. Снимаю шляпу. Хотел бы я за четверть часа до смерти эдак словами поиграть.

- А что, мне так мало осталось?

- Только дорасскажу вот. Это как в любви, знаешь, бывает. Любишь ты человека, а он тебя – нет. Ну, тут уж хозяин – барин, насильно мил не будешь. Он про твою любовь знает и тебя эксплуатирует, может даже ногами потоптать. Ты ничего, терпишь – любишь ведь. А он видит безнаказанность – и давай дальше тиранить. Твоей же любовью тебя, как дубиной, охаживать. Ты все прощаешь по-прежнему. Но однажды он зарывается. Переходит тот рубеж, за которым нет ни прощенья, ни любви...

- А – смерть?

- Иногда, но необязательно.

- Ты так сильно любил ее? Зачем тогда говорил о любви к нему, абстрактному человеку, когда речь шла о ней, конкретной женщине?

- Ты за кого меня держишь? Кого я любил? Слизнячку эту безмозглую? А я-то, было, тебя уже умной считать начал...

- Тогда не темни – какой другой предел она перешла?

- А какая, после любви, вторая власть человека над человеком?

- Деньги. Вчера я сказала бы, что она именно первая, но сегодня согласна: вторая.

- Ну, так вот, ими она меня и держала. Просто, да? И однажды...

- Подожди-подожди... Как держала? Какими деньгами?! Кого – тебя-а?! Что ты так усмехаешься?

- Да ты так удивилась, что даже про смерть собственную забыла на время – аж рот открытым остался. Да, меня-а... Потому что, как я тебе уже говорил, я – инженер по холодильникам, а не медиа-магнат. И женился на наследнице такого теневого магната благодаря стечению двух немыслимых обстоятельств: папочка Марьяны как раз помирал от рака, когда его шлюхе-дочке припала блажь переспать с симпатичным инженером, проектировавшим у них в поместье особую холодильную систему. Папик сообразил, что я – парень положительный, и смогу удержать его любимое чадо от многих безобразий. И если он не найдет немедленно Марьяне приличного мужа, то максимум через год она сопьется, исколется, а криминальный капитал отца с помощью любовничков пустит по ветру. Умный был Папик. И прекрасно понимал, что надежного мужа, за которого можно дочь спрятать, как за каменную стену, в ее кругу «золотой молодежи» искать бесполезно. О деньгах он вполне мог позволить себе не думать, и дочке влепил ультиматум: либо она выходит за меня и наследует за ним все, кроме, разве, мелочи, либо после смерти папы начнет самостоятельную карьеру – например, с должности уборщицы в общественном сортире... А ей было, в общем, плевать, за кого идти: лишь бы с лица был ничего. А с этим у меня, как видишь, все в порядке... А о какой-нибудь там душевной близости... Хм, она и слов-то таких не знала... Короче, вытянул я этот билет. Представляешь, каково: живешь себе, ни сном, ни духом... И вдруг из комнаты в коммуналке – а мы с матерью вдвоем там жили, шкафом разделившись – переезжаешь в четырехэтажный особняк с парком и озерами... И дачек таких от Ленобласти до юга Италии поразбросано... Одну из них ты видела – самую ближнюю и хиленькую... Квартиру в городе – тоже. А в той комнате, откуда я переехал, клопы под обоями жили и ничем не вытравливались. Мутировали, сволочи... Из инженера я превратился в директора телеканала... Сначала не понимал ничего, думал – найду опытных менеджеров, а сам буду только бабки стричь. То есть, бабки Марьянины, но ей до фени – было б в доме, что выпить... Даже беременная надиралась, сволочь! Тьфу. Давить таких надо. Вот ведь... Вроде, человека застрелил, а не жаль ни грамма. Как клопа размазал... Ну, так вот. Постепенно захватило меня! По виду я был владелец канала, всем заправлял, а она – моя жена и все. Не многие знали правду – вон, Мишка знал, да еще человека четыре. Но за те деньги, что получают у меня – молчали и молчать будут. О том, что я, точно так же, как и они, находился на зарплате у собственной жены... Что для того, чтобы получить ее закорючку на документе – любом документе! – мне приходилось каждый раз едва ли не пятки ее вылизывать! А она ликеру нажрется, поперек кровати валяется и знай себе, губки надувает: «Да-ам денег... Не-ет, не да-ам... Вот будешь пай-мальчиком...». Да черт побери, я бы охотно им стал, только понятия не имел, что это для нее значило! И так – каждый раз, как проклятье какое-то... Бросить все и хлопнуть дверью я не мог: совместно нажитого имущества, которое можно поделить, у нас не было никакого. Все до последней нитки она унаследовала, а наследство не делится... А я привык к благополучию. Да, привык, и ничего ужасного в том не вижу: к хорошему привыкаешь еще быстрее, чем к плохому... Нет, понятно, бедность мне уже не грозила, но я приспособился к определенному уровню, и мне казалось трагедией с него хоть немного спуститься. Но я расплатился сполна, не думай. Я каждый день с утра до

вечера ходил, потом холодным покрытый, – все голову ломал, как именно она надо мной сегодня издеваться станет. На что денег «да-аст», а на что «не да-аст», и как еще я должен себя вести, чтоб быть «пай-мальчиком» а не «бьякой-бу-укой»... И вот, наконец, этот проект... Я его, как беременная баба, год вынашивал, честное слово... Всех завел, все закрутил, проект международный, убойный, не миллион, а миллиард баксов принести мог – да кому?! Ей же, ей именно, дуре! Я – что, у меня – зарплата! Она, вроде, не сопротивлялась, промежуточные чеки легко подписывала, спивалась себе потихоньку, по Апраксину рынку пьяная шаталась и шмотки там покупала... Ну, ты знаешь... И вдруг, неделю назад, опять старая шарманка: «Не-ет, ты какой-то стал нехоро-оший... Совсем меня разлюби-ил... Как на пустое место смо-отришь... Вот я подожду месяцок и посмотрю на твоё поведее-ение... Чтоб муж у меня был приме-ерный...». Какой там месяцок, к такой-то матери! У меня уже все на мази было! Народу понаехало, представителей всяких, форум целый... А она валяется в своем кресле-ракушке и гундосит: «Какой ты, Пупсик, стал гру-убый... Ну совсем не любишь свою Ки-иску...». Я на колени перед ней раз двадцать бухался, в ноги кланялся... А она знай хохочет, да из горла прихлебывает... Тогда я встал, пошел к себе, «Макаров» свой взял – на меня записанный, чин по чину – и в лоб стерве своей направил. Бумаги перед ней давно уж лежали – с галочками, где расписаться. Подписывай, говорю, сука, не то, дескать не ручаюсь за себя... Впрочем, уверен был, что не выстрелю: думал, испугается, подпишет... Под дулом люди и не на такое шли... Но не учел, что пьяная была, а пьяному море по колено... Ей так смешно стало, что она от визга зашлась... Бутылкой размахивает и ногами дрыгает... Мразь. Первого выстрела я даже не слышал, и понятия не имею, как курок спустил... Просто увидел, что она дрыгаться перестала, и на меня изумленно так посмотрела... Никогда я у нее такого взгляда не видел: словно разом в человека превратилась, и думать начала о чем-то... И тогда я стал стрелять без остановки: каким-то уж очень ненормальным, до тошноты гадким показалось мне это превращение... Не мог я допустить, чтобы она... Короче, ни одна пуля мимо не пролетела. Я пистолет бросил. На пол сел и вдруг вспомнил: Славик гуляет с нянькой, сейчас придут... По счастью, ее сотовый номер у меня быстро нашелся... Напел ей – причем, спокойно так, знаешь – что дома авария (какая – уточнять не стал) и велел сразу везти ребенка к моей матери. Даже про тебя вспомнил, про урок твой последний (кстати, признаться хочу: любил Славка твои уроки) – сообразил, когда привезти его надо, чтоб на урок, значит... И уж после позвонил Мишке. Больше никто не помог бы. Вдвоем все тщательно убрали, гадюку эту дохлую на даче закопали, поглубже, и стали думать, как выпутываться.

- Ни за что не поверю, чтоб у тебя в тот момент не было достаточной суммы, чтобы не выпутаться, а – откупиться.

- От кого откупиться? От ментов? Для этого и сотовой доли того, что у меня было, хватило бы... На всех – от рядового до генерала. Но откупиться от Семьи... Безнадежно. Там не деньгами меряют. Там за жизнь дочки такого «папы» только свою отдать можно. Это как минимум. Притом, что личность дочки не учитывается. Она могла быть от рождения идиоткой и всю жизнь ходить под себя но за ее насильственную смерть плата была бы та же... И если бы вот хоть на столько кто-то засомневался бы...

- Понятно, дальше можешь не объяснять. Ты решил подсунуть меня вместо нее. Несчастный случай – не убийство. Или убийство – но кем-то со стороны. Экстравагантность, скажем так, ее образа жизни наверняка была известна. Марьяна сама напрашивалась на неприятности, и, если бы она их однажды получила, никто не особенно не удивился бы. Так?

- Так. Но идея была не моя, а Мишкина. Ты, может, не помнишь, но, когда на последний урок пришла, Славик на коленях у красавца такого чернявого сидел, вы еще поздоровались... А как вы в детскую ушли, Мишка с места вскочил, рукой мне махнул – и мы в ванной заперлись, воду включили...

«Что за телка?». «Учительница Славкина». «Когда она вошла – я на секунду в привидения поверил. Думал, Марьяна. Как похожи-то! И плащ такой я у Марьяны видел». «Это и есть ее плащ, она ей в прошлый раз подарила». «Слушай, вот тебе и решение проблемы. Мы училку сейчас пристукнем, и вместо Марьяны похороним». «Ты чего – как это вместо Марьяны?». «Да просто, мозгами пораскинь: сейчас в сумку ей Марьянин паспорт сунем, а если у нее там свой или другие какие документы – заберем. И все. До дома не дойдет, несчастный случай. В сумке паспорт, значит, сообщат по адресу. Дальше – опознаешь ее как свою жену, получаешь свидетельство о смерти и хоронишь с почестями, громко рыдая над гробом». «Родственники заметят подмену». «Как бы не так. Когда у меня сестра родная померла, я до конца похорон так и не узнал ее в том трупе, что был в гробу. Ее и мать наша не узнала – платье ей на кладбище расстегивала, чтоб особые приметы найти... А у тебя что будет? На женщин в таких случаях принято надевать платок. Из-под платка – черная челка, точно как Марьянина. Нос острый, рот большой и пухлый – все, что требуется. Ни в какие тонкости никто вникать не будет, достаточно общей схожести. Только мать заметила бы, да матери нет. Кроме того, в морге ее раскрасят». «А этой училки родственники?». «А для них она просто пропадет без вести. Это каждый день случается. Но справки о ее окружении нужно привести сегодня же, сразу. Чтoб знать, кому рот заткнуть в случае чего...». Вот такой разговор у нас с Мишей состоялся в ванной.

- Просто, как все гениальное. Но скажи – у тебя ничего не дернулось? Вот так простенько решиться на убийство постороннего, ничего не подозревающего человека? В конце концов, похожий труп можно было купить и готовым – при твоих-то деньгах!

- До твоего появления рассматривали мы и такой вариант. Только риск утечки информации все-таки очень велик. А Семье достаточно было только занять подозрения – и уж они-то все раскрутили бы за полдня. Что же – требовалось убрать абсолютно всех причастных к продаже трупа? И пойдй еще найди подходящий труп – неопознанный и свежий... Довериться никому мы не могли, действовать пришлось бы вдвоем... На чем-нибудь бы – да засветились. А с тобой все чисто. Дернулось ли что-нибудь? Нет, к тому моменту уже ничего: я почти невменяемый был. Время шло. Марьяны нет, подписей тоже, народ начинает удивляться... Да и Мишка пообещал, что сам все сделает. Впрочем, одна вещь могла тебя спасти.

- А именно?

- Когда Мишка Марьянин паспорт в руки взял он пролистал его сначала. И вдруг языком щелкает: «Пролетели. Здесь группа крови проставлена». «И что?» – я ему. «Да то, что у училки, вероятно, другая. Если не сойдется, то кто-нибудь дотошный может поднять бучу. А нас только двое, вдруг не уследим? Что тогда?». И тут я вспомнил, как весной ты свою кровь Марьяне дала... Не было б того случая... «Да нет, – говорю, – у нее такая же. Я точно знаю...». Ну, а дальше тебе известно. Побегали мы за тобой славно. Мне уж стало казаться, что не найдем. Уж Мишке велел что-то другое придумывать, мол, учителька как в воду канула, а время идет... И тут ты сама звонишь – как в сказке! Я в чудо такое еще минут пять не верил, думал, от бессонницы померещилось... Потом понял: судьба играет на моем поле: такой случай один на тысячу выпадает – словно золотую рыбку поймал... Так что, Сима, не обессудь...

- Бедный ты, Леша, бедный... Если б ты знал, как мне тебя жалко!

- Кто бедный, я бедный?! Ну, ты скажешь!

- Да непутевый какой-то... Извини. Я пройдуь немного, замерзла, как цуцик... Института даже нормального не мог себе выбрать, чтоб учиться. Надо же придумать – холодильные установки! А женился на ком? На что рассчитывал? Ладно, убил, наконец, жену – и когда? В самый неподходящий момент... Себе же нагадил. Решил другую женщину в гроб подложить – неделю за ней гонялся, пока сама не пришла. Нет бы с места в карьер ее на тот свет спровадить – так два часа с ней философскую беседу едешь... Да где еще, Леша, взять такого непутевого, как ты? Эх, жену бы тебе правильную, чтоб руководила, чтоб в ежовых рукави...

- Сима! Осторожно! Обрыв!
 - Я в воде, блин горелый! Холодная! Помоги, дурак, тону ведь!
 - Сейчас, только спущусь... Ты держись там за что-нибудь, Сима!
 - Держусь, но давай быстрее – ноги сводит!
 - Руку протяни, руку! Хватайся! Да не дергайся!.. Твою мать, теперь оба потонем!
- Спокойно, я дно нащупал... Возьмись мне за плечо... Все, все, вон там выберемся на сухое... Испугалась?
- А ты думал... Шла, вроде, по твердому, и вдруг под ногами ка-ак обрушится... Если б не ты...
 - Ничего: вон, куртка на кусте повисла, не намочла... Давай, кофту снимай, укутайся... Черт, и растереться нечем... Да отвернулся я, отвернулся... Ой, Сима, что ж я наделал-то?
 - Свои собственные слова подтвердил.
 - К-какие?
 - А те, что... Ну, что деньги на втором месте, а на первом...
 - Любовь? Считаешь, я в тебя влюбился? Нет, ты не в моем вкусе: мне нравится, когда блондинка, и – высокая, и – худенькая... А ты...
 - Маленькая, черненькая, толстенькая, и ножки кривоваты. Но это неважно сейчас, а важно, что ты понял – про любовь... Не к женщине, а к ближнему...
 - Поповщина. Впрочем, я забыл, что у тебя всё святые старцы кругом... Нет уж, хватит с меня...
 - Они кругом нас всех... Леша, ты куда?!!
 - Не смей меня звать, слышишь?! И молись, чтоб я не обернулся, несчастная!!! А еще лучше – беги в другую сторону!!! Потому что, если я тебя еще раз увижу или услышу!!!
 - Поняла, Леша, поняла... Молчу уже, молчу... Христос с тобой...

* * *

Жара – настоящая, болезненная, сведшая в могилу не одну сотню сердечников и гипертоников, обрушилась без предупреждения... Почти неделю стояло мягкое, благодатное тепло, а однажды люди проснулись удушающее горячим, влажным утром – и не было спасения уже нигде.

В третий такой день к зеленому острокрышему домику с парой окошек в белых наличниках подкатила лоснящаяся «Ауди» цвета маренго. Ухоженная женщина споро появилась из водительской дверцы и, если б жара давно не выгнала обитателей окружающих домов на ближнюю речку, несмотря ни на что всегда почти ледяную, а при такой погоде – лакомо прохладную, то женщина могла бы стать объектом всеобщего внимания. Поселок еще не сплошь был застроен аляповато-красными мини-замками, и местные жители не успели привыкнуть к внешности и запаху диковинных дам, подъезжавших к своим загородным виллам. Если бы незнакомке – загорелой, словно после тропиков, в костюме мандаринового оттенка, что может позволить себе лишь очень самоуверенная женщина – довелось пройти мимо кого-нибудь неискушенного – а таковыми в поселке являлись почти все – то он был бы поражен ароматом настоящей морозной зимы, обдавшем его при быстром разминовении с гордой дамой. Удивить могло и то, что подъехала она не к одному из кирпичных бастионов, а к едва ли не самому скромному, облупившемуся от времени домику на улице. Но дама шагала вдоль забора, явно высматривая кого-то на участке, а достигнув калитки и просунув руку между дощечками в поисках щеколды, стала столь же неумело, сколь уверенно, вскрывать дверцу. Она бы, конечно, со временем преуспела в этом занятии, если бы на крыльце зеленого дома вдруг не показалась самая заурядная дачница – маленькая чернявая женщина в зеленом халате, босая и с пустым пластмассовым ведром веселого розового цвета.

Женщина не была ни накрашена, ни причесана, как и полагается дачнице с ведром, и, хотя рядом с красавицей из «Ауди» она могла сойти разве что за уборщицу, эта неприметная женщина вдруг улыбнулась редкой, почти компьютерно белой улыбкой и звонко выкрикнула:

- Ритка!! Ты!!! – и, не выпуская нарядного ведра, бросилась к калитке по земляной тропинке.

- Сима! – возбужденно обрадовалась гостя. – Все в порядке! Слава Богу!

- Ну, заходи же, – торопила Сима, возбужденно отодвигая засов. – Заходи давай, молодец, что приехала!

Рита, наконец, проникла за ограду и оказалась в милом дворике, сплошь засаженном пестрыми ранними цветами.

- Знаешь, – замялась она у калитки, как бы не решаясь идти дальше, – а ведь я, пока ехала, вовсе не была уверена, что...

- Что найдешь меня живой и здоровой... – с легкой, постороннему не заметной, но Ритой сразу угаданной иронией, закончила Сима.

- Нет, в этом-то я как раз и не сомневалась... А вот на то, что ты меня дальше калиткипустишь – не очень надеялась...

- Да, тем более что один раз я так именно и поступила. Семь лет назад – помнишь? – остро глянула Сима.

- Еще бы... Но ведь и я поступила так – только совсем недавно. И... в общем, у тебя были веские причины для такого поступка, а у меня – не причина, а, может быть... месть... Ты не думай – я раскаялась почти что сразу. Но тебя найти уже не смогла... Телефоны твои не отвечали...

- Мобильного больше не существует, – вставила Сима.

-... и в дверь я четыре раза приходила звонить, никто не открыл... А мобильник я тебе завтра привезу свой старый, возьми пока... – рассеянно закончила Рита и, в свой черед, в упор глянула на подругу.

- Тогда ты обеспокоилась пуще? – пыталась та.

- Как раз наоборот... Если бы с тобой... что-нибудь случилось, то твой отец не торчал бы с внуком на даче, так что хоть его я нашла бы... Пустота твоей квартиры и безответность твоего сотового – все это как раз и свидетельствовало, что с тобой все в порядке, – простодушно пояснила Рита.

- Железная у тебя логика, ничего не скажешь.

Женщины так и стояли у самой калитки, нещадно поджариваемые сверху. Рита потупилась:

- Похоже, я все-таки была права: ты меня в дом непустишь.

- Впущу, – улыбнулась Сима, – теперь не только впущу, но и снова буду дружить с тобой. И теперь, наверное, навсегда. Если ты, конечно, не против...

- А зачем я, по-твоему, приехала?! – вдруг подозрительно зазвеневшим голосом воскликнула Рита, и Сима увидела, что нос у нее покраснел: за без малого тридцать лет дружбы она давно уразумела, что таковы предвестники Риткиных рыданий – и оперативно предотвратила их:

- Так, пошли срочно в дом, пока нас солнечный удар здесь не хватил.

Одной отвлекающей фразы обычно хватало для перекрытия Ритиных слезных каналов – подействовало и на этот раз.

- А громовержец твой где? – уже ровнее спросила она, следуя за подругой к домику по знакомой тропинке.

- Представь себе, на рыбалке, и вернется дня через три-четыре. Тогда я Ваську опять ему оставлю и поеду в город: существование под одной крышей для нас равно мучительно... Там с тобой и пообщаемся всласть. Можем даже кутнуть на радостях.

- А Вася где сейчас?

- С соседями на речке. Мне в этом плане везет: там у них папа очень ответственный, за детьми хороший пригляд, так что могу не беспокоиться. Сам потонет – детям не даст. Ни своим, ни чужим, – серьезно и уважительно, что, в общем, было ей несвойственно, объяснила Сима и распахнула перед Ритой дверь: – Ну вот. Босоножки можно не...

- Помню, но все-таки сниму: так ногам лучше... – и, беззаботно скинув свою драгоценную обувь, она босиком, как и подруга, пошлепала в комнату, имевшую выход на северо-западную темную сторону, и оттого теперь терпимо прохладную.

Сима принесла из холодильника початую бутылку «Колы» и стала задумчиво разливать коричневую, шипучую, очень привлекательную на вид и очень ядовитую на деле жидкость в два высоких стакана с веселыми зверьками на стенках. Вдруг ее движения замедлились:

- Рита... Я никогда тебя не спрашивала... Как-то не смела... А сама ты подробно не рассказывала... Тогда, семь лет назад... Пока я... Ну, делала Ваську... Что происходило с тобой? – с усилием произнесла она.

Рита, уже успевшая усесться за стол и подпереться кулачками, спокойно сказала:

- Я? Гуляла по берегу Финского залива и пела псалмы. Со мной был большой серый кот.

Пластиковая бутылка ударилась о стакан, напоследок выплюнула большую порцию напитка – и оба стакана моментально оказались в большой коричневой луже – на что никто не обратил внимания. Сима осторожно поставила бутылку.

- Псалмы? Ты уверена, что именно псалмы? – глуповато спросила она.

- Уверена. Тебя это удивляет? – наивно восторжествовала Рита.

Сима махнула рукой:

- Ты знаешь, нет. После этих дней я нескоро научусь снова удивляться. А ты знаешь, какие это были псалмы?

Пожав плечами, Рита запела неожиданным контральто:

- Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его...

- Стой! Я где-то это слышала, точно это! И совсем недавно

Рита усмехнулась:

- Ну, разве что ты в церкви была. Потому что я специально выясняла: это – сто второй псалом, его поют в начале Литургии, а потом...

- И была, и исповедовалась, и причащалась...

- Кто – ты?! – усомнилась Рита, и вид у нее сразу стал потешный, как у изумленной курицы – даже весь лоск куда-то пропал.

- Ну, я, я... Знаешь, я вообще многое должна тебе... То есть, я хочу сказать, что для меня тоже очень хорошо оказалось, что ты меня выперла, – прерывисто заговорила Сима. – Но это потом, потому что главное – это про Франциска Ассизского...

- Ах, да, я и забыла... Как, кстати, картина – продвигается?

- Никак, и не продвинется больше.

- Ты что – передумала?! – ахнула Рита и даже заерзала в лужице своим стаканом. – Или – не получается? Это же картина твоей жизни – разве нет?!

- Была. Другой жизни, – голос Симы несколько дрогнул. – Но насчет псалмов. Ты знаешь, я в церкви еще один слышала, который мне понравился, а потом, здесь уже, взяла в комодике бабушкин молитвослов с Псалтирью. Не поленилась, поискала и – нашла. Сейчас, погоди, я его заложил... – и Сима метнулась через комнату к странному предмету мебели под названием комодик, а что это было на самом деле, не знал никто.

Она быстро вернулась с небольшой книжицей в золоченом переплете и, передвинув стул ближе к Ритиному, возбужденно присела рядом:

- Вот, вот он, в самом конце, сто сорок пятый, даже как-то похож на твой... Слушай: Хвали, душе моя. Господа, восхваляю Господа в животе мое, пою Богу моему дондеже

есмь... – начала она смущенным фальцетом, но чуть услышав, Рита вдруг вцепилась ей в локоть:

- Я знаю, знаю его! Его – тоже! Давай сначала, вместе! Не торопись, у тебя ведь сопрано... Поехали...

Они хором вдохнули, и, одна – пристально глядя в книжку, где русскими буквами напечатан был славянский текст, а другая – умильно возведя глаза, неровно запели:

- Хвали, душе моя, Господа...

Но к тому моменту, как соседский дачник Николай Сергеевич по дороге с купанья домой честно привел матери маленького Васю, приятеля собственного шестилетнего сынишки, из открытых окон симпатичного зеленого домика уже несло вполне стройное, на два голоса, пение:

- ...Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сира и вдову примет...

«Ну, надо же, – уважительно подумал Николай Сергеевич, останавливаясь и не выпуская из рук две ладошки – сыновнюю и Васину. – Никак, Серафима Викторовна церковную передачу по радио слушает?»

- Красиво поют, да? Это про Бога, – счел он нужным пояснить детям, и они, вместо того, чтобы вырываться или капризничать, стояли спокойно и с интересом слушали необычную, никогда ранее не слышанную песню...

Эпилог

*Яко тысяща лет пред очима Твоими,
Господи, яко день вчерашний,
иже мимоиде, и стража ночная.*

Пс. 89, ст. 5

Сердце у Виктора Павловича все равно казалось не на месте. Он знал, что поступил, как всегда, правильно, почти дословно выполнив свою угрозу дочери, – а именно, не дождавшись ее приезда на дачу (правда, прождал он на всякий случай до воскресенья), самолично привез внука домой, где и оставил одного в квартире, наказав ни к двери, ни к телефону не подходить и дожидаться матери. Своим запретом отвечать на звонки (мало ли что расскажет в простоте сердца шестилетний пацан злему человеку) Виктор Павлович сделал хуже сам себе. Вот уже несколько раз набирал он родной номер, но слышал все те же печальные гудки, свидетельствовавшие либо о послушании внука, либо о появлении его мамы, тотчас же забравшей ребенка на дачу. Оно и понятно: такая жарница вмиг выгонит вон из города – было бы куда, а Симка вообще легка на подъем: за четверть часа соберется и уедет, а того, чтоб отцу позвонить на сотовый – этого нет. И свой отключила. Специально, чтоб ему досадить...

И вот сиди теперь у окна в квартире друга, с которым завтра на Ладогу, и майся: вроде, и радость какая – вон, сколько Пашку не видел, уж год, почитай – и времени полно оказалось, чтоб всласть, как в прошлом году... А нет приятного предвкушения в душе Виктора Павловича. Все мерещится ему покинутый дома одинокий внук Вася – хоть и «байстрюк», как всегда называл его в разговорах с дочерью, чувство свое старательно перед ней скрывая, – а на самом деле, единственная дедова отрада теперь, раз уж с дочерью не вышло... Хамка выросла. Ни профессии нормальной, ни мужа. Тьфу. Да ладно, что уж теперь... И с каждой секундой все ярче чувствовал Виктор Павлович, что вот так просто взять и уехать на четыре дня, ничего не разузнав о том, что происходит дома, он не сможет: отравлена тогда будет для него и рыбалка, и водка, и Ладога...

А выезжать уже почти пора: Пашка все приготовления закончил еще утром, «москвичонок» свой загрузил всем необходимым – «Вот только поужинаем сейчас – да и в путь, чтоб аккурат к рассвету на наше место прибыть...». И потому весело трещала в кухне картошечка на шкварках, которую умело шуровал широким ножом Пашка – но вовсе не тянуло Виктора Павловича ни к другу на подмогу, ни квасу холодного от души испить... Квас Пашка тоже сам ставил – особый, душистый, на черных корочках и яблочной кожуре... Диво, что за квас! Но не хотелось сегодня этого квасу отставному полковнику – он в бесконечный раз накручивал диск древнего, тяжелого, как булыжник, черного жабовидного телефона. Все без толку. Либо носится уже беззаботный Васька по мягкой мураве, что растет по берегам их речушки, – или, по, крайней мере, подъезжает к поселку на электричке – либо... На коленках стоит на табуретке у окна в пустой раскаленной квартире, напряженно вглядываясь в пустующий двор опухшими от слез глазками, ярко-серыми – в отца, наверное, – смотрит, не идет ли мама, а ее все нет и нет...

«Не может такого быть!» – мотал головой полковник, отгоняя ужасное видение. В глубине души он полностью был уверен в Симиной материнской ответственности, знал, что сына она любит и на произвол судьбы не бросит – придет. Это в глаза он честил ее «мачехой», «кукушкой» – и все в таком духе, а про себя вынужден был со скрипом признать, что Симка – мать вполне неплохая, заботливая, и даже щенка Ваське давно купила бы, на займи он, Виктор Павлович, непримиримую позицию по отношению к этой затее. Он очень боялся, что, в конце концов, выгуливать пса по утрам придется именно ему...

Запах шкварок, до того деликатно проникавший в комнату сквозь две плотно закрытые двери, вдруг ворвался Виктору в нос во всей своей соблазнительности: пооткрывав двери, Пашка весело прискакал в комнату... Виктор сглотнул слюну и непроизвольно улыбнулся, подумав, что никто не посмеет ни Пашку, ни его назвать стариками, несмотря на Пашкину сияющую плешь и его собственный белый бобрик... Нет, оба они, слава Богу, в свои шестьдесят пять – мужики в расцвете сил. Понадобится – еще и баб потопчут будь здоров...

- Переживаешь? – сочувственно спросил Пашка, определив что-то по лицу друга. – Да брось, обойдется: сам же говорил как-то, что не кукушка Сима твоя. Давно уже пришла, наверное...

- Раз десять звонил – не отвечают! – почти в отчаянии крикнул Виктор.

- Ну, уехали, должно быть, – успокаивал Пашка Виктора тем же, чем тот утешал себя сам.

- Так позвонить могла бы! Так, мол, и так, папа: пришла, забираю, уезжаем... Мне что – много надо? Лишь бы не волноваться.

- Ладно, пошли картошку есть. Эх, жаль за рулем, а то по сто грамм сейчас бы в самый раз... Ну ничего, на месте догоним. Давай-давай, садись, сейчас подумаем, как твое сердце утихомирить, а то какой из тебя рыбак будет, – Пашка ловко хлопотал меж столом и плитой, но не по-бабьи суетливо у него это получалось, а основательно, по-деловому, и видно было, что хотя и в женином фартуке с большой розой на кармане – но был это положительный и солидный мужик.

Пока картошечку со шкварочками раскладывал, да гостеприимно, толстыми ломтями резал ветчину, да огурчики (Верочки его слава и гордость) в глиняной мисочке располагал покрасивее, да квас свой знаменитый сквозь чистую марлю цедил, все обдумал и выложил:

- Вот что, Виктор: мыслю я, не позвонит тебе Сима ни в каком случае, поэтому...

- Стерва... Я бы ей... – прервал было друг, но и сам был остановлен властным мановением Пашкиной огромной длани.

- Между прочим, это сам ты и виноват, так что Симку не стерви. Она без матери росла, ласки, считай, не знала, а ты ее, уж прости меня, только туркал не по делу. И что ты хочешь – чтобы она вечно давала себя унижать? Если бы к ней тогда еще, в детстве, с любовью подошел, то...

- То она бы мне на шею села и ноги свесила, – отчеканил Виктор любимую свою фразу: таково действительно было его представление о женщинах вообще.

Всю жизнь, с любой из них, боялся он дать слаbinу, показать невзначай бабе, что нужна она ему, не безразлична... И все тогда, искренне думал Виктор. Тогда его власти над ней конец – ее власть начнется. Потому что в чем бабе не откажешь – так это в умении мужскую власть к рукам прибирать. И опомниться не успеешь, как под каблуком окажешься... И неважно, кто она – жена ли, дочь ли, любовница – все одно баба. Либо ты ее в кулак, либо она тебя под башмак. На том стоял полковник Долохов всю жизнь, не мог иначе.

- Не села бы она никуда, а звала бы тебя папкой, любила, уважала и слушалась, – мягко ответил другой полковник – вообще-то, Комаров, а для друзей просто Пашка.

Был он, как медведь ручной: не заламает попусту. Хотя, если разъярить, то... Потому и генералом не стал.

- Если б не боялась, то и не слушалась бы, – упирался Виктор Павлович. – Тут, понимаешь, либо одно, либо другое: либо любит, либо подчиняется.

- И не совместить? – улыбнулся Пашка.

- Как это понять? – удивился Виктор. – Как ты совместишь несовместимое?

- Самое совместимое и есть! – излишне, может, горячо воскликнул полковник Комаров. – Ведь если не из любви, а из-под палки кого слушаться, то его же ненавидеть будешь, сам посуди! Только мыслей и останется: скорей бы сдох, сволочь, не мучил меня, мол. Ты хочешь, чтобы и Сима об этом мечтала?

- Я ей не посторонний дядя, а отец, между прочим! Я ее один, без матери вырастил, благодарна должна быть! А ты думаешь – она что, смерти моей хочет?! – взревел оскорбленный Долохов.

- Не горячись, Палыч остынь, кваску вот хлебни... Полегчало? Слушай: не хочет она ничьей смерти, понятно? Она просто от тебя бегаёт. Старается поменьше тебя видеть и слышать. И это естественно: ничего доброго ей ни видеть, ни слышать от тебя не приходится. Вот ответ: если она сейчас, прямо сейчас позвонит тебе на мобилу сообщить, что все, дескать, в порядке, приехали на дачу – что ты ей скажешь?

- Ну – что? – озадачился Виктор. – В первую очередь, я ей пропишу по первое число за то, что она, дрянь такая...

- Вот потому и не позвонит! – хлопнул себя по коленям Пашка. – Кому охота такое выслушивать! Мы сделаем так. Тебя, я вижу, все равно не переупрямить, да дело твое. А мы вот сейчас, как поедим да тронемся в путь – крюк сделаем до твоего дому. Чтоб ты убедился, что никого там нет, все на даче – и рыбачить поехал спокойно. Только уж извини, наверх я с тобой поднимусь: это на случай, если Сима с Васькой еще там. А не то ты скандал ей учинишь, и тем настроение себе и им вконец не испортишь... Ну что, ясно излагаю, товарищ полковник? – весело спросил он.

- Да ясно-то ясно... – пробурчал товарищ полковник. – Только ты другой вариант не учел: что мы приедем, а Симки нет, и Васька там один сидит нежрамши...

- Ну, в этом случае, – принял быстрое и самое верное решение Пашка, – я твоей Симе, когда вернется, самолично юбку задеру и по заднице ее вот этим, – он гордо продемонстрировал лапу, мало уступающую медвежьей по размеру и лохматости, – отхожу как следует. А мальчика мы тогда с собой заберем. Не сильно он нам помешает, а вот маманька его пушай побеспокоится. Согласен?

Виктор кивнул с облегчением; повезло ему с корешем: не только все поймет и выход укажет, но и половину дела просто и без условий на себя возьмет... Вот бы он действительно Симку по толстому заду отделал! Может, тогда в разум войдет...

Виктор Павлович задумчиво вертел в руках пульт маленького кухонного телевизора, убрав до минимума звук, но нервно переключая каналы с одного на другой.

- Да хватит играть, раздражает, – выхватил у него игрушку Пашка, и на экране оказался не пойми какой, совершенно незнакомый канал.

Друзья спохватились об остывающей пище, разом взялись за вилки и бойко заработали чудными фарфоровыми зубами, вставленными обоим в новой клинике по протекции Симиной подружки-зубной врачихи.

Устав от разговора – тем более что пришли к общему знаменателю, они рассеянно пялились в экран, по которому величественно, как океанский лайнер, плыл дорогой лакированный гроб с бронзовыми ручками. Гроб несли шестеро мужчин в черном, рядом понуро шествовал седьмой, маячили женские головы в черных шляпах и кружевах. Пашка, не выпуская пульта, пробормотал:

- А нам с тобой, поди, больше, чем на сосновый, рассчитывать не приходится... Ну, да лично мне наплевать, – и он прибавил звук, желая узнать, кому выпало счастье нежиться в таком уютном гробике. – Баба, кажется.

Глянул и Виктор:

- Угу. И челка черная торчит, как у моей Симки. Она тут обкорналась – жуть. Была б у ней мать – и та бы не узнала...

За кадром пояснили что-то о трагической, безвременной гибели жены самого директора данного канала. Крупным планом показали безутешного вдовца – он явно раньше плакал, но теперь, перед камерами, крепился.

- Еще бы, жена-то, наверное, молодая, – посочувствовал ему Пашка. – Вот она, жизнь: и деньжищ у них, небось, было – не пересчитаешь, и молодость, и здоровье... А вот тебе пожалуйста: трагически погибла. И не в машине, иначе бы гроб закрытым был... Видишь, как просто. Ты, вон, с Симкой ругаешься, а смертушка рядом ходит... Богатый ли, бедный – все равно ей...

- Ну, ладно, хватит! – взвился Долохов и, выхватив пульт у друга, решительно вырубил телевизор. – Поел ты? Я – да, спасибо, вкусно... Поехали тогда Ваську проверять, чего сидим-то?

* * *

Старое заветное место было у друзей-полковников на берегу Ладоги – от чужих глаз скрытая мирная полянка. Подъехать можно почти к самой воде и машину замаскировать совсем незаметно, – а уж лодка резиновая имелась у них знатная, военного образца, надежная и большая, только вот пока надуешь – замучаешься.

Этим они и занимались усердно на бережку, поочередно работая насосом, но старались делать это потише, чтоб не разбудить ненароком лишь к концу пути безмятежно заснувшего мальчишку. Мальчик спал и не видел стремительно всходившего в мягком мареве солнца, обещавшего день уже не такой жаркий, и много рыбы – толстой и переливчатой. Два мужчины смешно надували щеки и то жмурили, то пучили глаза, оба чему-то радуясь, как дети. Предстоял новый день, с которого для них начиналась совсем другая жизнь, но никто еще об этом не знал.

*Ноябрь 2003 – апрель 2004 г.
Санкт-Петербург*